В. Е. ВЕТЛОВСКАЯ

РЕЛИГИОЗНЫЕ ИДЕИ УТОПИЧЕСКОГО СОЦИАЛИЗМА И МОЛОДОЙ Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

Обсуждение темы, вынесенной в название этой статьи, не претендует на полноту. Нам хотелось бы обратить внимание на некоторые положения утопических систем, связанные с вопросами религии и оригинально преломившиеся в творчестве Достоевского, прежде всего и главным образом в «Бедных людях».

Говоря в 1873 г. («Дневник писателя», гл. XVI «Одна из современных фальшей») о современном ему «политическом социализме», суть которого, по Достоевскому, означает приглашение к «повсеместному грабежу» и уничтожению существующего строя («Ибо по-настоящему ничего еще не решено, чем будущее общество заменится, а решено лишь только, чтоб настоящее провалилось,— и вот пока вся формула политического социализма»)[1], писатель вспоминает, что до этого приглашения, при первом появлении социалистических учений и идей, дело выглядело иначе. Оно понималось «в самом розовом и райско-нравственном свете. ‹...› зарождавшийся социализм сравнивался тогда, даже некоторыми из коноводов его, с христианством и принимался лишь за поправку и улучшение последнего, сообразно веку и цивилизации. Все эти тогдашние новые идеи нам в Петербурге ужасно нравились, казались в высшей степени святыми и нравственными и, главное, общечеловеческими ‹...›. Мы еще задолго до парижской революции 48 года были охвачены обаятельным влиянием этих идей. ‹...› Все эти убеждения о безнравственности самых оснований (христианских) современного общества, о безнравственности религии, семейства; о безнравственности права собственности; все эти идеи об уничтожении национальностей во имя всеобщего братства людей, о презрении к отечеству, как к тормозу во всеобщем развитии, и проч., и проч. — все это были такие влияния, которых мы преодолеть не могли и которые захватывали, напротив, наши сердца и умы во имя какого-то великодушия. Во всяком случае тема казалась

© Ветловская В. Е., 1994

lib.pushkinskijdom.ru

величавою и стоявшею далеко выше уровня тогдашних господствовавших понятий — а это-то и соблазняло» (21, 130—131)[2].

Действительно, зарождавшийся социализм именно «коноводами его» (прежде всего Сен-Симоном и его школой) сравнивался с христианством. Сен-Симон допускал, что даже в прежних рядах роялистов, якобинцев, бонапартистов могли оказаться те, кто были «особо избраны Богом, чтобы стать основателями нового христианства, окончательного христианства, освобожденного совершенно от суеверий, которыми отяготило его духовенство в своих честолюбивых целях и которые были приняты на веру нашими отцами по невежеству»[3]. Эти возможные «основатели» пожелали, однако, остаться неизвестными, они ничем о себе не заявили. Печать особого избранничества легла поэтому на Сен-Симона, взявшего на себя труд реформирования обветшавшей религии[4]. Отныне она должна была освятить авторитетом божественного одобрения план новой социальной организации, соответствующей «современному положению дел, современному уровню просвещения и цивилизации»[5]. «Поправки» и «улучшения» Сен-Симона по отношению к устаревшей религии были самыми радикальными. Его «Новое христианство» отбросило в область «суеверий» решительно все за исключением «общего принципа, данного Богом людям»: «Господь сказал: „Люди должны относиться друг к другу как братья". Этот высший принцип содержит в себе все, что есть божественного в христианской религии»[6]. Исполнение воли Бога (приведение в действие его божественного принципа) означало, в разъяснении Сен-Симона, необходимость немедленной реорганизации общества, замены существующих институтов, защищающих интересы немногих за счет нищеты и несчастья большинства, новой социальной структурой — ассоциацией, построенной на основе взаимной выручки и услуг, согласования интересов богатых и бедных к выгоде всех и для обеспечения материального и духовного благосостояния наиболее многочисленного и необеспеченного класса: «Иисус Христос обещал вечную жизнь тем, которые больше всего будут споспешествовать улучшению жизни беднейшего класса как в моральном, так и в физическом отношении»[7]. Осуществление в действительности и на деле божественного предписания (благодаря системе ассоциаций, их взаимных выгод и услуг) наградило бы небесным блаженством всех и каждого и, сократив времена и сроки, низвело небеса на землю, поместив обещанный Богом рай в пределах земли. Усилиями «друзей человечества», этих новых апостолов Христа, будет наконец реализован «нравственный, поэтический и научный план (являющийся, по мысли Сен-Симона, планом Бога.— *В. В.*),

lib.pushkinskijdom.ru

который должен переместить земной рай <...> из прошлого в будущее»[8] и небесный рай — из будущего в настоящее.

На почве столь великих задач и столь высоких обещаний развилась, как известно, вся религия сенсимонистов — культ экстатической любви к человечеству, веры в его грядущее счастье. «Человечество!— восклицал один из самых ярких сенсимонистов, Анфантен, в цикле лекций, прочитанных им и его друзьями в самом конце 1820-х гг.— Чем объяснить, что рука моя дрожала, что сердце мое загоралось желанием действовать каждый раз, когда я произносил имя этого великого коллективного существа, при мысли о его счастливом будущем, при виде его прошлых страданий, цепей, в которых оно бьется по сей день?»[9]. В этом культе, как легко заметить, Богу почти не оставалось места. С тех пор как сенсимонисты (и — в принципе — любые реформаторы такого рода) разгадали его план и взялись его исполнить, Бог мог лишь благословить их труды и начинания, отойдя в сторону и не мешая. И характерен ход мысли Анфантена: ввиду недействительности «всякой научной проверки аргументов за или против идеи Бога» (т. е. ввиду гипотетичности самого его существования), уже не из любви к Богу следует любить человечество, где каждый являет образ своего Творца и все соединены одним родством, но скорее из любви к человечеству следует любить и Бога: «Падите <...> ниц вместе с человечеством перед его Богом, он также и ваш Бог, вознесите вместе с ним хвалу владыке, законам которого оно любовно повинуется»[10]. А поскольку, заметим кстати, эти законы, пути и судьбы мира известны немногим, готовым взять на себя заботу об общем шествии к единой цели, то Богу (из-за капитальности оказанной ему и человечеству «услуги» и, так сказать, в порядке благодарности) ничего не остается, как уступить им, вождям-избранникам, и любовь, и повиновение, и возносимую к небесам хвалу. Эта связь идей, делающая из служителей верховного закона самозваных и своевольных законодателей, позже позволила Достоевскому с полным правом обвинять утопических реформаторов в непомерной гордыне.

Но пути Господа оказались неисповедимы, и многие сенсимонисты, начиная с Анфантена, в той или иной степени отказались от планов земного рая, предложенных их учителем, и нашли более близкими видам Бога планы Фурье. Эти сенсимонисты и положили начало фурьеристской школе. «„К 1838 году,— по словам П. Леру,— быть учеником Анфантена или учеником Фурье означало почти одно и то же. Те, что отвергали добавление Анфантена к фурьеризму, но принимали существо системы, становились фурьеристами с вечера к утру“. Многие сенсимонисты приняли учение Фурье, считая его лишь

lib.pushkinskijdom.ru

высшей ступенью того же учения, приверженцами которого они были до сих пор. „Да будет нам позволено сказать,— говорилось во вводной декларации к изданию первого фурьеристского журнала,— что многие из нас вышли из сенсимонизма и, признав превосходство и первенство там, где они блестяще и бесспорно выявились, далеки от того, чтобы снять с себя ответственность за прежние свои слова. Они обещали ассоциацию, свободу, прогресс, улучшение положения бедняка; и именно, чтобы наконец сдержать этот священный обет, они присоединяются к Шарлю Фурье“»[11]. Переход с одних позиций на другие и в самом деле не представлял затруднений. И Сен-Симон, и Фурье мечтали о всеобщем счастье. Оба были сторонниками мирного, нереволюционного (без потрясений и взрывов) способа построения нового общества. Оба сохраняли в этом новом обществе (ассоциации, фаланге) иерархическую структуру (достаточно простую у Сен-Симона, чрезвычайно дробную у Фурье). Тот и другой полагали, что гармония интересов среди членов ассоциации или фаланги, их дружеские и любовные узы возникнут на основе взаимных выгод и услуг, благодеяния и благодарности. Возникнут, по мысли Фурье, даже и в том случае, если им мешает естественная антипатия. Фурье приводит такой пример: «Валерию 20 лет, Ургеле — 80. Если она любит Валерия, то найдет у него *естественную антипатию* в отношении любви. Посмотрим, как связи по обстоятельствам преодолеют это отвращение, противопоставляя ему четыре сердечные связи: две связи дружеские (A) и две союзные связи (F)». Далее: A 1. В качестве человека, наученного Ургелой одному из занятий, Валерий, естественно, ей обязан. A 2. И в другом своем занятии «он обязан опять-таки Ургеле». F 3. У Валерия есть вкус к «алгебре любви» — науке отыскивать подходящих друг другу мужчин и женщин. И тут его учит Ургела, которая является «феей взаимности», лучшей «симпатисткой» края. F 4. Валерий из тщеславия хочет вступить в трудовую армию. Ему и тут помогает Ургела. «Вот между Валерием и Ургелой четыре связи соединения, стремящиеся поглотить естественное отвращение: две дружеские связи A по прошлым услугам и две связи союзные F по услугам будущим; следствием будет возбуждение у Валерия не прямой любовной страсти к Ургеле, но склонности из благодарности, косвенного духовного сродства, нейтральной связи, которая заменит любовь и поведет к той же цели. Ургела добьется Валерия в силу чистой привязанности. Ее 80 лет отнюдь не будут препятствием для Валерия, с раннего возраста привыкшего бывать с Ургелой. Молодость неустрашима в любви, когда у нее есть достаточные возбудители...»[12]. Заметим тут же (поскольку по этой линии главным образом и идет у Достоевского полемика с утописта-

lib.pushkinskijdom.ru

ми) невольно приходящий в голову вопрос: в чем заключается существенная разница между светлым будущим, которое рисует здесь Фурье, и самым мрачным настоящим, где у юноши или девушки для «косвенного духовного сродства, нейтральной связи» тоже могут быть вполне достаточные и даже более, чем достаточные, «возбудители» в виде страшного бесчестья, угрозы гибели (своей или ближайших родных) от нищеты и болезней? Вспомним Вареньку и ее отношения с Быковым в «Бедных людях».

Но оставим в стороне крайности Фурье, сказавшиеся в приведенном примере и свидетельствующие о его собственной неустрашимости в любви к несчастному человечеству. Удачная или неудачная детализация не меняет существа дела, поскольку взаимные услуги, благодеяния и благодарность могут принимать разные формы. Гораздо важнее самый принцип. В «Парижских тайнах» Э. Сю, вышедших в свет в 1842—1843 гг. и тотчас переведенных в России[13], в романе, насквозь пронизанном настроениями и идеями тогдашнего социализма, главный герой, принц Родольф, убеждает герцогиню Клеманс д'Арвиль заняться благотворительностью. Это занятие, известное герою по собственному опыту, способно доставить на его взгляд, более глубокое наслаждение, чем сердечные перипетии обычной любовной страсти. «Какие сильные и разноречивые чувства,— говорит он,— пробуждаются при виде добрых бедняков, которые заливаются слезами благодарности! Господи, это стоит порой в тысячу раз больше, чем насупленное лицо любовника, ревнивого или неверного, а только такими они и бывают...»[14]. «Вы справедливо говорите,— вторит ему Клеманс.— Посвятить свое сердце и разум добру ради благодарности тех, кто страждет,— это все равно что полюбить... Что говорю я? Их благодарность больше, чем любовь!»[15]. По убеждению Э. Сю, высказанному в том же романе, «услуги, которые щедрый человек оказывает людям, в той же мере привязывают его к ним, как и услуги, которые он от них принимает»[16]. На вере в незыблемость этой аксиомы, никем не проверенной и ничем не подтвержденной, и крепилась (точнее было бы сказать — лепилась счастливая гармония Сен-Симона и Фурье, сохранивших в проектах ее иерархической структуры давно существующее неравенство. Я опускаю подробности полемики Достоевского с утопистами по этому вопросу: мне приходилось о ней писать[17]. Но нельзя обойти вопрос вообще, поскольку вершину проектируемой иерархии (согласно Сен-Симону и Фурье), так же как вершину уже сложившихся иерархических структур (согласно официальной догме европейских государств), венчает Бог. Ср.: «...нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены» (Рим. 13, 1) — слова гораздо более утешительные для тех, кто

lib.pushkinskijdom.ru

правит, чем слова Христа: «Царство мое не от мира сего...» (Ин. 18, 36).

Религиозность самого Сен-Симона сомнительна. Похоже, что он совсем не верил в Бога. Бог ему был нужен для одобрения его социальной доктрины (из уступки давно укоренившимся и разделяемым большинством понятиям) и в качестве высшей нравственной санкции, без которой, как он полагал (вместе с некоторыми другими атеистически настроенными мыслителями), невозможна никакая мораль, никакая нравственность, никакой маломальский социальный порядок. А беспорядок, по его убеждению, страшнее самого отвратительного порядка[18].

Глубокая религиозность Фурье несомненна. Понятие Бога в его философских воззрениях занимает центральное место. И это, безусловно, чрезвычайно импонировало молодому Достоевскому. Безрелигиозные социальные системы, в которые выродилось учение «идеальных» утопистов, Сен-Симона и Фурье[19], и которые все более настойчиво и все более успешно распространялись накануне революции 1848 г.[20], не вызывали, как думается, у русского писателя ни особого душевного трепета, ни проникновенно-сердечного, интимного интереса.

Но религиозность Фурье далека от традиционных верований. Его представления о Боге и его творении своеобразны. По убеждению Фурье, часто цитировавшего в таких случаях Ф. Шеллинга (хотя эта мысль имеет более глубокие философские корни), общий принцип, или закон, связывающий Бога, вселенную, человека и отражающийся как в целом, так и в отдельных его частях,— принцип аналогии. Ссылаясь на Шеллинга, Фурье писал: «Вселенная устроена по образцу души человеческой, и аналогия каждой части вселенной с совокупностью ее в целом такова, что одна и та же идея постоянно отражается от целого в каждой части и от каждой части в целом»[21]. Все находится во взаимном отражении: «...человек — это зеркало вселенной ‹...› вселенная — зеркало самого человека»[22]. Оспаривая тех, кто полагает, что Бога «следует чтить ‹...› не стремясь познать его», Фурье утверждал: «Но если не познáют Бога, то не познáют и человека, потому что душа человеческая создана по образу Божию...»[23]. Иначе говоря, она зеркально его отражает («зеркало» — одна из важнейших метафор в поэтическом плане философской системы Фурье; даже в композиции своих работ он старался использовать приемы аналогий — прямых и опрокинутых зеркальных соответствий[24]). И дальше: «Мы должны были тем более стремиться познать Бога, что это — познание наиболее легко достижимое, познание, с которого надо было начинать»[25].

lib.pushkinskijdom.ru

И. Кант однажды заметил: «Если нужно соединить две хорошие вещи, то как много зависит от порядка, в котором их соединяют!»[26]. По-видимому, Фурье был уверен, что начинает правильно. Между тем, руководствуясь принципом аналогии и вопреки собственному утверждению, он на самом деле идет не от Бога к человеку, а от человека к Богу — в сходном соответствии с последовательностью идей, мелькнувших в одном из диалогов Гете: «Старое предание повествует нам о том, как однажды между собой сговаривались демоны: давайте сделаем человека по нашему образу и подобию. А следовательно, и человек может с полным правом сказать: давайте сделаем по нашему образу и подобию богов»[27]. Ср. разговор Ивана и Алеши в «Братьях Карамазовых»:

«— Я думаю, что если дьявол не существует и, стало быть, создал его человек, то создал он его по своему образу и подобию.

— В таком случае, равно как и Бога.

— ‹...› Ты поймал меня на слове, пусть, я рад. Хорош же твой Бог, если его создал человек по образу своему и подобию» (14, 217—218).

Фурье убежден, что Бог наделил человека собственными страстями (включая страсть к игре, переменам, интриге). Отсюда реабилитация страстей: все они благой и высокой природы. Поэтому чем многообразнее у человека страсти, чем они интенсивнее, тем ближе этот человек к совершенству, ибо Богу они присущи во всей полноте и всей интенсивности. Понятие долга, предписывающего подавлять дурные страсти и вызванные ими потребности, отсутствует в системе Фурье: оно ушло в разряд мрачнейших «предрассудков». Поэтому всякая мораль и всякая религия, ставящая требования долга во главу угла, безнравственны. У человека только одна обязанность — быть счастливым, а счастье, по Фурье (как и по Сен-Симону), заключается в богатстве и удовольствиях. Прежде всего в богатстве, так как без него невозможно удовлетворение никаких потребностей и страстей, а следовательно, не может быть и никаких удовольствий. Отсюда вся забота Фурье о материальном процветании будущих гармонийцев, тщательно разрабатываемые им планы хозяйственно-трудовой организации жизни при социетарном режиме — то, что позднейшие ученики и последователи Фурье взяли на вооружение, отбросив за ненадобностью новую религию учителя[28]. В самом деле, зачем она? Анна Федоровна, устраивая «счастье» сначала Вареньки и ее матушки, затем Вареньки и Быкова, которое ей как раз и видится в богатстве и удовольствиях, нисколько не сомневается в том, что она делает доброе дело: «Поминутно ‹...› твердила о своих благодеяниях. Посторонним людям рекомендовала нас как своих бедных родственниц,

lib.pushkinskijdom.ru

вдовицу и сироту беспомощных, которых она из милости, ради любви христианской, у себя приютила. <...> Батюшку поминутно бранила: говорила, что лучше других хотел быть, да худо и вышло; дескать, жену с дочерью пустил по миру, и что не нашлось бы родственницы благодетельной, христианской души, сострадательной, так еще Бог знает пришлось бы, может быть, среди улицы с голоду сгнить» (1, 31). И об отношениях с Быковым: «Анна Федоровна говорит, что я по глупости моей своего счастия удержать не умела, что она сама меня на счастие наводила, что она ни в чем остальном не виновата и что я сама за честь свою не умела, а может быть, и не хотела вступиться. А кто же тут виноват, Боже великий! Она говорит, что господин Быков прав совершенно и что не на всякой же жениться, которая... да что писать! Жестоко слышать такую неправду, Макар Алексеевич!» (1, 25). Анна Федоровна оказывает услуги другим (и многим), хлопоча о чужой и собственной выгоде, и ничего по существу не изменилось бы в ее положении, если бы ее неутомимая деятельность была менее таинственной (1, 30), а она сама, будучи обыкновенной сводней, стала бы вдруг именоваться «феей взаимности», лучшей «симпатисткой» края. Пошлое представление о счастье, расхожую житейскую мораль Фурье возвел в ранг божественного закона. Уже существующее и более или менее стыдливо, более или менее ловко скрываемое зло (корысть, желание материальных благ и удовольствий) теперь могло выступить вперед с полным правом и без всяких покровов.

Но Христос сказал: «Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и мамоне (богатству). Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды?» (Мф. 6, 24—25).

Освободив человека от забот о душе, от нравственных уз и обязанностей, Фурье освободил его тем самым и от необходимости беспокоиться о счастье прочих. Ибо из потребности личного благополучия (богатства и удовольствий) отнюдь не следует потребность видеть счастливым и еще кого бы то ни было, тем более нет ни нужды, ни разумных оснований в самоограничении, в уступке, в предпочтении чужого блага своему собственному (ср.: «Она говорит, что господин Быков прав совершенно и что не на всякой же жениться, которая...»). Нет их даже и в том случае, когда на чаше весов с одной стороны оказывается минутный каприз и прихоть, а с другой — глубокое, безысходное горе. Ср.: «Федора его (Быкова.— *В. В.*) встретила <...> и тут же на улице стала его упрекать, укорять, сказала

lib.pushkinskijdom.ru

ему, что он человек безнравственный, что он причина всех несчастий моих. Он отвечал, что когда гроша нет, так, разумеется, человек несчастлив. Федора сказала ему, что я бы сумела прожить работою, могла бы выйти замуж, а не то так сыскать место какое-нибудь, а что теперь счастие мое навсегда потеряно, что я к тому же больна и скоро умру. На это он заметил, что я еще слишком молода, что у меня еще в голове бродит и что и наши добродетели потускнели...» (1, 96). Последние замечания намекали на то, что Варенька не так бедна, как думает, что у нее есть свой капитал (молодость и красота); хотя с некоторых пор, благодаря счастью Быкова и несчастью Вареньки, он несколько поубавился в цене и может быть пущен в ход с меньшим успехом и выгодой. Впрочем, этот убыток Быков готов возместить, если Варенька оставит глупые бредни и пустится по верной и доброй дороге — той самой, которую с самого начала ей указала Анна Федоровна: «...она меня же винит в неблагодарности <...>. Она зовет меня к себе; говорит, что я христарадничаю, что я по худой дороге пошла (где нет и не может быть счастья — ни достатка, ни удовольствий.— *В. В.*). Говорит, что если я ворочусь к ней, то она берется уладить все дело с господином Быковым и заставит его загладить всю вину его передо мною. Она говорит, что господин Быков хочет мне дать приданое. Бог с ними! Мне хорошо и здесь с вами...» (1, 49).

Поскольку высшая ценность в виде личного преуспеяния не предполагает содействия и помощи другому, то любой шаг в этом направлении, независимо от того, чем он в действительности вызван, становится благодеянием — свидетельством бесспорных достоинств, особой добродетели. Чем больше делается услуг, тем больше добродетель, тем больше ожидается и признания. Для притязания на всеобщее признание и благодарность в конце концов оказывается не нужно даже и дела, довольно мечты, довольно, например, теории о всеобщем блаженстве (ведь, вообще говоря, можно было бы о нем и не думать). Вот почему Фурье и числил себя среди величайших благодетелей человеческого рода, и не только среди, но и на первом месте[29].

Между тем, согласно христианским понятиям, помощь другим разумеется сама собой, она не является ни благодеянием, ни особой заслугой: «Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им: цари господствуют над народами и владеющие ими благодетелями называются; а вы не так: но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше: возлежащий или служащий? А Я посреди вас как служащий» (Лк. 22, 24–27). Там, где высшей ценностью и счастьем счи-

lib.pushkinskijdom.ru

тается благополучие души (своей точно так же, как и чужой), всякая помощь не менее утешительна и необходима тому, кто помогает, чем тому, кто в ней нуждается: «Не о себе *только* каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе...»; «Подражайте, братия, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова: их конец — погибель, их богчрево, и слава их — в сраме: они мыслят о земном» (Фил. 2, 4—5; 3, 17—19). Завет, который Христос оставил людям,— завет самоотверженной любви. В ней нет ни тягостной униженности, ни превозношения: «Заповедь новую даю вам, любите друг друга, как я возлюбил вас» (Ин. 13, 34). Ср.: «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви; ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди „не прелюбодействуй", „не убивай", „не кради", „не лжесвидетельствуй", „не пожелай *чужого*" и все другие заключаются в сем слове: „люби ближнего твоего, как самого себя"» (Рим. 13, 8—9). Но никто себе не делает услуг и никто не ждет от себя и себе благодарности.

Фурье не согласен с теми, кто полагает, будто Бог вообще отказался от вмешательства в социальные отношения людей. Возражая на это мнение, он писал: «Бог создает социальные законы даже для насекомых — пчел, ос, муравьев; как же мог бы он предать забвению или пренебрежению дело создания социальных законов для рода человеческого?..»[30]. Эти законы, утверждал Фурье, соответствуют божественной цели — устройству на земле всеобщей гармонии, т. е. того социетарного режима, который он описывал в деталях и подробностях. Основа этой гармонии (как и следовало ожидать, если помнить о принципе аналогии) та же самая, что и во вселенной, во всех ее частях: «...движущая сила материальной гармонии миров и насекомых — *притяжение* — должна быть также и движущей силой социальной гармонии людей...»[31]. Исходя из этого соображения, Фурье и проектирует трудовые серии — своеобразные армии социетариев-гармонийцев, объединенных притяжением по страсти к тому или иному роду деятельности, которая благодаря неравенству, соперничеству, интригам, желанию выгод и наград станет наиболее привлекательной и увлекательной игрой. Тогда даже «наименее богатый из людей <...> будет гораздо более счастлив, чем ныне величайший из королей; ибо подлинное счастье состоит лишь в том, чтобы удовлетворить все страсти»[32].

Хотя человеческая жизнь в прошлом и настоящем чрезвычайно далека, по мнению Фурье, от изображенного им идеала и конечной

lib.pushkinskijdom.ru

цели провидения, Бог не виноват в страданиях людей. Правда, до сих пор все способствовало пользе и выгоде «плута, который при общественных укладах варварства и цивилизации достигает богатства скорее, чем человек правдолюбивый. Это странное положение привело к необходимости высказаться за одно из двух мнений: либо зловредность Бога, либо зловредность строя цивилизации. Разумно рассуждая, можно остановиться только на этом последнем мнении; ибо нельзя допустить, чтобы Бог был злодеем, а он действительно был бы им, если бы осудил нас вечно прозябать в условиях гибельного строя цивилизации»[33]. При этом строе все обращается человеку во зло, поскольку несправедливые социальные отношения, вызывающие вместо гармонизации интересов хаос, вражду и раздробленность, искажают благие человеческие страсти, дают им ложное направление, и результаты этого искажения и этой лжи казнят людей[34]. Страдания человечества — следствие его глупости, непонимания своих путей и судеб; это Божья кара (способ отеческого вразумления) за грех уклонения от правильной дороги, ведущей к общему богатству и разнообразию удовольствий[35].

Настоящее состояние цивилизованного мира, по мнению Фурье, таково, что этот мир является прямой противоположностью благому предначертанию и представляет собой в зеркально опрокинутом виде (по отношению к тому, что должно бы быть)[36] картину «неистовствующего ада»[37]. Все, что история человечества демонстрировала и демонстрирует до сих пор, «можно было бы полагать творением духов преисподней! Если бы демонам отдали в управление нашу планету, разве могли бы они устроить порядок более противный», чем все известные, бывшие и нынешние, социальные уклады — «вместилища всех гнусностей»[38]. Это царство страданий, ненависти, лжи, самых изощренных и отвратительных пороков.

Однако нет никакой нужды оставаться в этом аду, упорствуя в прежнем заблуждении. С тех пор как основной закон гармонии — закон притяжения — открыт и разъяснен Фурье в применении к социальным отношениям (его теория притяжения по страсти, согласующая интересы бедных и богатых, вообще любые интересы, на почве выгоды и взаимных услуг), путь в рай, уготованный человеку Богом, свободен. На него можно ступить хоть завтра. Заключая очерк «О прогрессивных сериях, или сериях трудовых групп», Фурье писал, что как только будут организованы эти серии, составленные по принципу неравенства, максимального разнообразия и контраста (от бедняка до богача, от невежды до ученого, от младенца до старика и т. д.)[39], «вы услышите, как род человеческий славит Бога за создание склонностей, которые среди вас являются зародышем величайших

lib.pushkinskijdom.ru

неурядиц; наконец, вы признаете, что нет ни одной бесполезной или дурной страсти; что все характеры хороши такими, каковы они есть; что следует возбуждать их страсти, вместо того чтобы умерять их; что нужно создавать прихоти и потребности даже у людей без богатства и что лучшими гражданами, наиболее полезными в социетерном механизме, являются те, которые в наибольшей степени обладают склонностью к утонченным наслаждениям и наиболее слепо отдаются утолению всех своих страстей»[40]. Ибо человек не раб Бога, он достойный его сотрудник, точнее сказать, партнер, приглашенный не для какой-нибудь бессмысленной и пустой игры, какие только и ведомы опрокинутому миру, но для гораздо более интересной и захватывающей интриги, приносящей истинное наслаждение и той, и другой из играющих (интригующих) сторон — все разнообразие удовольствий, происходящее от утоления самых разных страстей[41]. Дух затейливой игры и интриги, воспользовавшись благими побуждениями Макара Алексеевича («...и все об вас были мечтания мои, Варенька ‹...› вот теперь весна, так и мысли все такие приятные, острые, затейливые ‹...› все в розовом цвете» — 1, 14), с первых страниц «Бедных людей» влечет его не вверх, в свет и радость, а вниз, в тьму, пока несчастный герой не лишился сначала «игривости чувств» («Я не спорю ‹...› я глубоко упал и, что всего ужаснее, в собственном мнении своем проиграл, но уж это, верно, мне так на роду было написано, уж это, верно, судьба,— а от судьбы не убежишь, сами знаете. ‹...› Я немного нездоров, маточка моя, и всей игривости чувств лишился» — 1, 67), а потом и чувств вообще, кроме одного — отчаяния, безутешной скорби.

В каком направлении и каким образом Достоевский развивает и оспаривает приведенные здесь соображения утопистов и не только их?

Прежде всего он полностью принимает идею Бога — благого Творца и Промыслителя мира, держащего в своих руках пути и судьбы своего творения — и целого и всех его частей, и человечества и каждого человека. Ср. в начале романа: «Прощайте, прощайте, храни вас Господь! Прощайте, Варвара Алексеевна» (1, 21); «Милостивый государь, Макар Алексеевич! ‹...› Я умею оценить в моем сердце все, что вы для меня сделали, защитив меня от злых людей, от их гонения и ненависти. Я вечно буду за вас Бога молить, и если моя молитва доходна к Богу и небо внемлет ей, то вы будете счастливы» (1, 21; эти мотивы возвращаются то и дело по ходу рассказа); затем в конце слова Вареньки: «Знает Бог, буду ли я счастлива, в его святой, неисповедимой власти судьбы мои, но я решилась. Говорят, что Быков человек добрый (среди других это наверняка говорит Анна Федоров-

lib.pushkinskijdom.ru

на.— *В. В.*); он будет уважать меня; может быть, и я также буду уважать его. Чего же ждать более от нашего брака?» (1, 101) — и ответ на эти слова Макара Алексеевича: «Да, это так, Варенька, это так; Быков поступил благородно ‹...›. Конечно, во всем воля Божия; это так, это непременно должно быть так, то есть тут воля-то Божия непременно должна быть; и промысл Творца небесного, конечно, и благ и неисповедим, и судьбы тоже, и они то же самое» (1, 101—102). Судя по ситуации, как она выясняется для читателя в развязке всех событий, промысл Творца небесного действительно неисповедим, тем более неисповедим в данном случае, что очень сомнительно, что он благ.

Брак Вареньки и Быкова («господина Быкова», если пользоваться обычным именованием, которое героиня продолжает повторять и после сговора и венчания,— 1, 102, 103, 104, 106) не только таким, как Анна Федоровна, представляется «счастьем». Минутами он кажется счастьем даже Вареньке, измученной постоянной мыслью о бесчестье, болезнями, нищетой, тягостными перипетиями отношений с Макаром Алексеевичем, ее другом и покровителем, взявшимся было и не сумевшим ей помочь: «Если кто может избавить меня от моего позора, возвратить мне честное имя, отвратить от меня бедность, лишения и несчастия в будущем, так это единственно он. Чего же мне ожидать от грядущего, чего еще спрашивать у судьбы? Федора говорит, что своего счастия терять не нужно; говорит — что же в таком случае и называется счастием? Я по крайней мере не нахожу другого пути для себя, бесценный друг мой. Что мне делать? ‹...› Из чего выбирать мне?» (1, 101). Героине действительно не из чего выбирать. Самой судьбою ей оставлен только один верный «путь» и «добрая дорога» — брак с господином Быковым. В отличие от других, которые могут искать или не искать, находить или не находить счастье, бедная Варенька волею обстоятельств (волею судьбы) просто приговорена к счастливому исходу всех своих невзгод — законным супружеским отношениям, освященным церковным обрядом и безусловно почтенным в глазах людей. Иначе ей грозят «утехи» все более и более свободной любви, следовательно — та же нищета, те же болезни, общее презрение и насмешка, т. е. то же, что и прежде, и еще пущее горе. Ведь пока лишь очень немногие догадались, что свобода любви отнюдь не преступление, что видеть в ней порок — предрассудок. Ср., например, слова Фурье о «земном рае» и «более счастливом порядке вещей», который предшествовал долгим векам существования человечества, отмеченным в анналах истории: «Люди всех рас были свободны от предрассудков в эпоху своего сотворения и никак не помышляли объявить преступлением свободу любовных от-

lib.pushkinskijdom.ru

ношений»[42]. Разумеется, в светлом будущем эта свобода, на которую Фурье возлагал самые большие надежды[43], займет главное и почетное место.

Брак господина Быкова и Вареньки далек от любви. С обеих сторон это брак по расчету. Быков считает «долгом своим <...> возвратить» Вареньке «честь»; кроме того, и «это главная причина его сватовства», «у него есть здесь в Петербурге, как он сам выразился, негодный племянник, которого он присягнул лишить наследства, и собственно для этого случая, то есть желая иметь законных наследников, ищет руки» «доброй, чувствительной и ученой девицы» (1, 100). Впрочем, если он встретит отказ, он готов жениться и на купчихе. Варенька, благодаря этому браку, надеется избавится от позора, забыть о лишениях и несчастьях; кроме того, ей действительно некуда больше идти: опыт дружбы с добрым и бедным Макаром Алексеевичем ей показал всю глубину ее покинутости и сиротства. В этом браке по расчету, выгодном, как кажется, той и другой стороне, выгадывает на самом деле только Быков. В любом случае он ничего не теряет, даже если он потеряет и Вареньку: для осуществления своих планов он женится тогда на купчихе. Но Варенька теряет все, ее расчет неверен. Замужество не отвращает от нее одиночества, бедности и лишений, ведь и Варенькой, и деньгами теперь владеет господин Быков; ср.: «...серьги с жемчугом и изумрудами делать не нужно. Господин Быков говорит, что слишком богато, что это кусается. Он сердится; говорит, что ему и так в карман стало и что мы его грабим, а вчера сказал, что если бы вперед знал да ведал про такие расходы, так и не связывался бы. Говорит, что только нас повенчают, так сейчас и уедем, что гостей не будет <...> что еще далеко до праздников. Вот он как говорит! А Бог видит, нужно ли мне все это! Сам же господин Быков все заказывал. Я и отвечать ему ничего не смею: он горячий такой. Что со мною будет!» (1, 104). Замужество не избавляет Вареньку от скорби и болезней. Оно не возвращает ей самого важного — чести и доброго имени, ведь и тут все зависит от того, как, в какую минуту и с какой стороны господин Быков захочет на это взглянуть: предложив Вареньке руку, он одним этим предложением вернул честь и доброе имя себе, но не ей, ср.: «...и наши добродетели потускнели». Если Варенькины добродетели и вся ее «честность» успели потускнеть до свадьбы, то после нее они никак не могут засверкать. Да и с какой бы стати господину Быкову (и другим сторонним людям) Вареньку почитать? за что? Он решительно ничем ей не обязан, ему было из кого или чего выбирать, ср.: «И вы, маточка, докажите; резоном докажите ему! Скажите, что вы останетесь и что вы не можете ехать!.. Ах, зачем это он в Москве на купчихе

lib.pushkinskijdom.ru

не женился? Уж пусть бы он там на ней-то женился! Ему купчиха лучше, ему она гораздо лучше бы шла» (1, 107—108). Женившись на Вареньке, Быков ее наградил и осчастливил. Он не просто ее муж, но и благодетель. Варенька же выходит замуж из лютой нужды. Она обязана господину Быкову решительно всем,— и честью, и каждым куском хлеба. Эту-то честь и хлеб она и вынуждена отныне (с тех пор как судьба вернула ее на верный «путь» и «добрую дорогу») зарабатывать услугами брачных отношений. При ее абсолютной нищете и горьком сиротстве именно этот пай Варенька и может внести в семейную сделку, в акционерное общество на две персоны, где ценность пая одного из участников целиком определяется произволом другого и может только сокращаться. Но тогда что означают Варенькино «счастье», ее верный «путь» и «добрая дорога», как не торговлю телом, как не плохо скрытую проституцию в благообразной форме освященного церковью брака? Это та ситуация в современном порочном мире, которая уравнивает положение замужней женщины и проститутки и которая вызывала и вызывает негодующий протест всех социальных реформаторов, громко и резко выраженный Фурье. По его мнению, «ложный порядок» вещей, сплошь пронизанный насилием и принуждением, ярче всего представляет «семейная группа» — «сборище наиболее ограниченное и наиболее принудительное»[44].

Но что же он предлагает? Говоря о нравах будущих гармонийцев в связи с вопросом численности населения (она не должна быть чрезмерной, так как огромное количество людей отрицательно сказалось бы на общем достатке, богатстве всех и каждого), Фурье писал: «Свободная любовь, множественность любовников, представляет собой, очевидно, препятствие к плодовитости ‹...›. У гармонийцев же будет (только по истечении одного столетия) много женщин, отдающихся большому числу мужчин *в силу корпоративной добродетели, полезной обществу:* вакханки, баядеры, факиресы и другие корпорации, взявшие на себя обязанности обслуживания армий и караван-сараев ‹...› это будет с их стороны делом самоотвержения, от которого государство будет пожинать большие выгоды. Этот род нравов, в силу своего распространения на две трети женщин, будет ‹...› весьма могущественным средством бесплодия»[45]. Фурье ни на минуту не сомневается, что «этот род нравов» вполне соответствует человеческой природе и что если люди не следуют ему уже сейчас (о чем он горько жалеет), то только в силу лицемерия, навязанного им дурным общественным устройством. Допустим, так. Непонятно, однако, почему подобные нравы Фурье называет «свободной любовью»? От кого или от чего она свободна? Исключительно от естественной привязанности и от нравственных уз, ни от чего больше. Ведь «любовь» здесь род

lib.pushkinskijdom.ru

торговли, предмет купли-продажи, предмет обмена услугами, если не между отдельными людьми, то между отдельными людьми (всеми этими вакханками, баядерами, факиресами и т. д.) и государством. За свою «любовь» (общественно-полезный труд и деятельность) женщины, разумеется, получают содержание. Причем стоимость их «услуг» целиком определяется государством. Вряд ли оно станет ценить такие «услуги» слишком высоко в сравнении с другими: ведь их может предложить любая и каждая, большинство женщин (две трети). Поскольку с самого начала решено, что обилие любовных связей, их беспрерывная смена — в природе вещей, то любая оплата этой беспрерывной цепи удовольствий, вообще говоря, уже благодеяние (ибо если это удовольствие, то за что же здесь платить? А если это принуждение, то какая же здесь «свободная любовь»?). Так или иначе: получая от «свободной любви» «большие выгоды», государство оплачивает эту любовь с некоторым ущербом для женщин (иначе откуда бы взялось «самоотвержение»?). Государство определяет и размеры этого ущерба, или «самоотвержения». Нет никаких оснований полагать, что то, что с одной стороны, со стороны государства, покажется минимальным или даже нулевым ущербом, с другой стороны (со стороны членов вакхических корпораций) не окажется сплошным «самоотвержением». Если у женщины нет никакого иного источника существования и дохода, кроме услуг государству в виде «свободной любви» (которая, следовательно, тотчас становится настолько же свободной, насколько и вынужденной), то, спрашивается, какая разница между положением женщины сейчас и положением ее в счастливом будущем? между «свободной любовью» и проституцией? между пороком и добродетелью? По существу — никакой. Разве что сейчас женщина торгует своим телом сплошь и рядом из-за куска хлеба, а в будущем она станет это делать ради достатка или избытка, подобающего строю гармонии по усмотрению начальства; пока и здесь эта торговля существует все-таки в ограниченных пределах, потом и там она распространится в такой степени, что всякие пределы почти исчезнут. Косвенные, завуалированные формы эксплуатации женщин, проектируемые Фурье в самых устрашающих размерах, предполагают более коварное, более гнусное лицемерие, чем то, которое уже известно. Ведь пока зло, несмотря ни на какие извинения, считается злом, профанация любви (вне брака или в браке) профанацией и порок не возведен в добродетель. Да и вообще можно ли назвать то, о чем говорит Фурье, любовью? Тот род отношений, который он предлагает, даже если к нему вдруг окажутся расположенными все женщины, должен, по-видимому, называться иначе. Если же они не окажутся расположенными, то тогда «сборища» гармо-

lib.pushkinskijdom.ru

нийцев под флагом «свободной любви» будут тем более принудительными, чем менее они ограничены. Но какая же это гармония?

На переходных стадиях к строю гармонии принуждение под видом «свободной любви» очевидно. Вспомним Валерия и Ургелу. Отношения, которые Фурье демонстрирует на их примере,— отношения неравенства. Один в этом любовном союзе оказывает благодеяния, другой за них благодарит. Как такой союз из благодеяния и благодарности выглядит не в утопических теориях, а на деле и что он значит, Достоевский объясняет достаточно подробно — в рассказе об истории Вареньки и Макара Алексеевича, мельком и по аналогии — в рассказе об истории Вареньки и господина Быкова[46]. В той степени, в какой один из «любящих» своими благодеяниями над другим вознесен, а другой (этими же благодеяниями и вынужденной за них благодарностью) унижен, и распределяются между членами такой «любовной корпорации» ради взаимных выгод и услуг свобода и принуждение, удовольствие и мука, честь и бесчестье. Ибо благодеяние идет от достатка, тогда как нужда в таком благодеянии и благодарность за него — от ущербности и нехватки. Вот почему Варенька, которой Быков в виде благодеяния возвращает относительное благополучие и доброе имя (предварительно отняв их у нее), не может в действительности получить ни того, ни другого. Брак с господином Быковым не способен отвратить от Вареньки никакого несчастья, поскольку он-то и является самым большим для нее несчастьем, избавить от которого может только смерть. Ср. последнее ее письмо: «...ведь один Бог знает, что может случиться (в данном случае это знает и читатель, так как худшее уже случилось.— *В. В.*). Итак, простимся теперь навсегда ‹...›. Живите счастливо; будьте здоровы. Моя молитва будет вечно об вас. О! Как мне грустно, как давит всю мою душу. Господин Быков зовет меня. ‹...› Слезы теснят меня, рвут меня. Прощайте. Боже! как грустно! Помните, помните вашу бедную Вареньку!» (1, 106). «Счастье» Макара Алексеевича, несмотря на молитвы Вареньки, точно такое, что и у нее: беднягу тоже ждет и скорбь, и смерть. Ср. последнее его письмо: «Вы там умрете, вас там в сыру землю положат; об вас и поплакать будет некому там! ‹...› Я умру, Варенька, непременно умру; не перенесет мое сердце такого несчастия!» (1, 107). Бедным героям романа в конце концов отпущено одно счастье, одна дорога и одна судьба. А между тем оба они — *Алексеевичи.* У них один небесный Отец, общий всем заступник и покровитель (*Алексей* — значит: заступник, покровитель).

Достоевский рисует человеческое общество таким, каким оно известно с «незапамятных времен»,— иерархической структурой, объединяющей богатых и бедных, чиновных и нечиновных, обеспечен-

lib.pushkinskijdom.ru

ных и обездоленных. Мир в «Бедных людях» выглядит «ведомством» (так же как в гоголевской «Шинели» его представляет «департамент») с последовательностью идущих вверх ступеней, социальной пирамидой, сужающейся до точки вверху. Ср. письмо Макара Алексеевича о своем служебном поприще и «целом ведомстве нашем» (1, 47—48). За границами этой ведомственной иерархии, где-то далеко и всех выше остается только Бог: «Позвольте, маточка, всякое состояние определено Всевышним на долю человеческую. Тому определено быть в генеральских эполетах, этому служить титулярным советником; такому-то повелевать, а такому-то безропотно и в страхе повиноваться. Это уж по способности человека рассчитано; иной на одно способен, а другой на другое, а способности устроены самим Богом» (1, 61). Ср. лозунг сен-симонистов: «Каждому по способности, каждой способности по ее делам»[47],— защищающий неравенство апелляцией к «высшей» справедливости (неравенству отпущенных Богом дарований)[48] и предполагающий общую способность всех именно к такому порядку, где каждый удерживается или перемещается на социальных ступенях в границах, раз навсегда определенных (предопределенных) ему судьбой[49].

Тот факт, что Достоевский изображает реальные отношения людей в реальном мире, а эти отношения он строит не на основе вражды высших к низшим (как в «Шинели»), а на основе благодеяния (так сказать, любви и благоволения), позволяет писателю обсуждать одновременно и официально признанную догму, согласно которой Бог одобряет существующий порядок, и догму социальных утопий, согласно которой Бог одобряет иерархическую структуру проектируемой гармонии.

Образ Божьего мира, зеркально отраженный в «ведомстве», или «ведомства», зеркально отражающего этот мир, Достоевский использовал в важнейшей сцене романа — сцене благодеяния его превосходительства. В данном случае (как, впрочем, часто по иным поводам и в случаях других) писатель заимствует главное положение (закон всеобщей аналогии) и самый метод Фурье (исследование способом аналогий, вполне соответствующим универсальному закону) и обращает их против утопических теорий (argumentum ex concessis). Он делает это с помощью Гоголя, соединив сцену благодеяния Макару Алексеевичу со сценой распекания Акак я Акакиевича (тут и там «его превосходительством») теми же, что и у Гоголя, отсылками к Страшному суду, высшему и последнему приговору. «Пишу вам вне себя,— начинает Макар Алексеевич, рассказывая Вареньке о вызове к его превосходительству.— Я весь взволнован страшным происшествием» (1, 91). Далее он описывает это событие, заставившее его

lib.pushkinskijdom.ru

из-за оплошности, допущенной им в казенной бумаге, покинуть привычное, самое тихое на земле и смиренное место: «Вдруг слышу шум, беготня, суетня; слышу ‹...› зовут меня, требуют меня, зовут Девушкина. Задрожало у меня сердце в груди, и уж сам не знаю, чего я испугался; только знаю то, что я так испугался, как никогда в жизни со мной не было». Испуг понятен: Страшный суд и вызов к Господу Богу — «происшествие», выходящее за грань обычной череды событий. «Но вот опять начали, ближе и ближе. Вот уж над самым ухом моим: дескать, Девушкина! Девушкина! где Девушкин? ‹...› Я помертвел, оледенел, чувств лишился, иду ‹...› Ведут меня через одну комнату, через другую комнату, через третью комнату, в кабинет — предстал! ‹...› Вижу, стоят его превосходительство, вокруг него все они. Я, кажется, не поклонился; позабыл. Оторопел так, что и губы трясутся и ноги трясутся. Да и было от чего, маточка ‹...› я взглянул направо в зеркало, так просто было отчего с ума сойти от того, что я там увидел ‹...› я всегда делал так, как будто бы меня и на свете не было. Так что едва ли его превосходительство были известны о существовании моем. Может быть, слышали так, мельком, что есть у них в ведомстве Девушкин, но в кратчайшие сего сношения никогда не входили» (1, 92).

То, что Макар Алексеевич увидел в зеркале, было такой пасквильной картиной, что от нее не одному ему было в пору с ума сойти. Зеркало отразило (и продолжало отражать до конца сцены) весь беспорядок, полную дисгармонию иерархических отношений при внешней видимости порядка и все неблагообразие униженных и опозоренных ими лиц (ср. тщетную заботу Макара Алексеевича о своем «виде», «приличии» и «благообразии» накануне вызова к его превосходительству — 1, 66, 69, 71, 72, 74—76, 78—79). Хотя Макар Алексеевич, без всякого желания со своей стороны, все-таки оказался лицом к лицу и рядом с его превосходительством, тот и другой, разумеется, по-прежнему остаются на отведенной каждому социальной ступени (указывающей их способности, их возможности, обязанности и права). Вверху общей лестницы и, так сказать, ближе к Богу — его превосходительство и «все они» (известные «враги» Макара Алексеевича и «злые люди»), люди во всех отношениях «достаточные». Внизу — бедный Макар Алексеевич, чьи недостатки ясно обозначены в самом его виде. Отскочившая от истрепанного вицмундира, этой «ветошки», и прозвеневшая «посреди всеобщего молчания» пуговица (свидетельство последней стесненности, крайней нужды) была единственным ответом на гневные восклицания генерала: «Вот и все было мое оправдание, все извинение, весь ответ, все, что я собирался сказать его превосходительству!» (1, 92). Генерал, начавший было рас-

lib.pushkinskijdom.ru

пеканцией («Начали гневно: „Как же это вы, сударь! Чего вы смотрите? нужная бумага, нужно к спеху, а вы ее портите". ‹...› Я только слышу, как до меня звуки слов долетают: „Нераденье! неосмотрительность! Вводите в неприятности!"» — 1, 92), от распеканции удержался («Последствия были ужасные! Его превосходительство тотчас обратили внимание на фигуру мою и на мой костюм. Я вспомнил, что я видел в зеркале: я бросился ловить пуговку!..» — 1, 92) и кончил благодеянием, наградив Макара Алексеевича суммой, о которой тот не мечтал,— сторублевой бумажкой: «„Вот,— говорят они,— чем могу, считайте, как хотите..." ‹...›. Я, ангел мой, вздрогнул, вся душа моя потряслась: не знаю, что было со мною; я было схватить их ручку хотел. А он-то весь покраснел, мой голубчик ‹...› взял мою руку недостойную, да и потряс ее, так-таки взял да потряс, словно ровне своей, словно такому же, как сам, генералу. „Ступайте, говорит, чем могу... Ошибок не делайте, а теперь грех пополам"» (1, 93). Дистанция между генералом и Макаром Алексеевичем так велика (один стоит на высоте, с которой не сразу видит того, кого начал было распекать; другой в избытке стыда за свою пуговку и лохмотья опустился почти до четверенек), что им не только трудно возлюбить друг друга как братьев, у которых один Отец небесный, но трудно вообще признать какое бы то ни было между собой родство. Эта дистанция с обеих сторон сохраняется от начала и до конца, несмотря на благодеяние и благодарность, и даже так: как раз из-за них. Его превосходительство пожимает руку Макару Алексеевичу, разумеется, не как «ровне своей» и «такому же, как сам, генералу» (тому он не стал бы пожимать руку по поводу милостыни в сто рублей), но как нищему горемыке, задавленному нуждой до потери не то чтобы достоинства, но приличной видимости достоинства. Макар Алексеевич, со своей стороны, в приступе чрезмерной благодарности, заставившей генерала покраснеть (попытка целования генеральской ручки), лишь подтвердил от всей души и в глубоком убеждении чужое превосходство и свою ничтожность, ср.: «...не так мне сто рублей дороги, как то, что его превосходительство сами мне, соломе, пьянице, руку мою недостойную пожать изволили! ‹...› Этим поступком они мой дух воскресили, жизнь мне слаще навеки сделали». Умаляясь до «соломы», до пуговицы и ветошки, Макар Алексеевич тем самым поднимает его превосходительство на такую верхушку, где не то Бог становится его превосходительством, не то его превосходительство Господом Богом, ср.: «...я твердо уверен, что как ни грешен перед Всевышним, но молитва о счастии и благополучии его превосходительства дойдет до престола его!..» (1, 93).

lib.pushkinskijdom.ru

Эту-то страшную нищету и бесчестье, пожалев бедняка, генерал и наградил сторублевой бумажкой, так как больше решительно не за что было Макара Алексеевича награждать (ср.: «Нераденье! неосмотрительность!..» и т. д.).

Но что значит этот «грех пополам»? На генерале нет никакого греха, напротив ему честь и слава: он сделал все, что мог («чем могу»). Весь грех как был, так и остался на Макаре Алексеевиче, поскольку это грех бедности и связанного с ней позора. Если бы его превосходительство и в самом деле решил разделить с Макаром Алексеевичем его «грех», ему следовало бы поделиться с бедняком не ста рублями (которые с точки зрения его возможностей значат несравненно меньше, чем это кажется Макару Алексеевичу, лишенному любых возможностей), а половиной своего достатка, подняв бедняка и спустившись самому до середины разводящей их в разные стороны лестницы, где они могли бы действительно быть рядом и в равной чести. Со всеми вытекающими отсюда удовольствиями для них обоих. Иначе говоря, следовало бы отказаться от иерархических отношений вообще. Но многие ли обнаружили способность к такому радикальному благодеянию? Во всяком случае ее не обнаружили даже самые горячие друзья и любители человечества, даже в самых смелых проектах (ни Сен-Симон, ни Фурье). А между тем иерархический порядок (в принципе) не располагает к благодеяниям: один и без благодеяний может приказать (тот, кто выше и обеспеченнее), другой и без благодарности обязан повиноваться. И так по всем ступеням социальной лестницы.

В противоположность утопистам Достоевский утверждает, что ни братство, ни любовь не могут возникнуть между тем, кто делает благодеяние, и тем, кто его принимает. Зло заключено в самом неравенстве. Ведь благодетельствуют всегда тому, кому хуже, кто в более стесненном положении, чем другой. Следовательно, благодетельствуя, сначала признают чью-то недостаточность, чью-то ущербность с того, иного и всякого «боку» (см., например: 1, 68—69), а потом ждут или требуют за это признание благодарности, поскольку желание благодетеля в этом случае, как и во всех других, равносильно приказу. Логикою вещей благодарность становится необходимой платой (ибо кто без расчета на «слезы»-то благодарности пустился бы благотворить?) за чье-то превосходство, честь и удовольствие («утеху») и собственный срам и бесчестье.

По мысли Достоевского, нет никакой принципиальной разницы между «распеканием» и «остраткой», идущей сверху вниз социальной лестницы, и благодеяниями «любви», идущей в том же направлении. Разве что «любовь» здесь покрывает флером неблаговидную

lib.pushkinskijdom.ru

суть вещей и сбивает с толку. К явному злу она прибавляет отвратительное лицемерие. Вот почему нет и не может быть принципиальной разницы между существующим порядком и порядком, проектируемым в утопических системах. В конце концов и в предполагаемой гармонии (ввиду неравенства) один имеет право повелевать (в размер не способностей, а своих материальных возможностей) и связанные с этим правом «утехи», другой обязан повиноваться, а с удовольствием или нет — дело особое. Ведь гораздо легче просто выполнить приказ (чего вполне достаточно при существующем порядке), чем делать это с песнями, плясками и прочими выражениями «неистового» восторга, как это ожидается при строе гармонии. Поскольку восторга в силу обстоятельств, подробно разъясненных Достоевским, быть не может (а без него какое же счастье?), он явился бы лишь новым принуждением, издевкой над человеческой душой, приговоренной не просто смириться с унижением, но и распевать гимны и выплясывать ему во славу. Вместо любви и согласия порядок «гармонии» по необходимости возвращает ту же вражду, ту же разрозненность интересов, выгоду одним, невыгоду другим, он возвращает прежнее и даже худшее зло — тем более страшное, что оно выступает под видом радикального и счастливого обновления.

Но иерархию и существующего, и проектируемого порядка в незримых высотах венчает Бог — владыка всякой созданной им твари, исполненный благоволения и справедливости: «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его» (Пс. 105, 1 и др.). Ему известны пути и судьбы: «Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои» (Пс. 118, 137); «...в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было» (Пс. 138, 16). Он Отец, пекущийся о всех и каждом : «Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его» (Пс. 144, 9). Он общий заступник и благодетель. Следуя методу, подсказанному Фурье, Достоевский распространяет на отношения человека с Богом логику обычных для благодеяния отношений: ведь все «зеркально» отражается одно в другом и все подчиняется закону аналогии.

В самом деле: Бог дарует человеку жизнь, разум, чувства (страсти) и потребности. Он не дает только людям равной возможности эти чувства, страсти и потребности удовлетворить. Так обстоит дело при существующем порядке вещей и так оно обстоит в порядке будущем: «Отчего это так все случается, что вот хороший-то человек в запустенье находится, а к другому кому счастие само напрашивается? Знаю, знаю, маточка, что нехорошо это думать, что это вольнодумство; но по искренности, по правде-истине, зачем одному еще во чреве матери прокаркнула счастье ворона-судьба, а другой из воспи-

lib.pushkinskijdom.ru

тательного дома на свет Божий выходит? И ведь бывает же так, что счастье-то Иванушке-дурачку достается. Ты, дескать, Иванушка-дурачок, ройся в мешках дедовских, пей, ешь, веселись, а ты, такой-сякой, только облизывайся; ты, дескать, на то и годишься, ты, братец, вот какой! Грешно, маточка, оно грешно этак думать, да тут поневоле как-то грех в душу идет» (1, 86). Возможность есть, пить и веселиться, возможность любых удовольствий и удовлетворения любых потребностей находится в прямой зависимости от той или иной степени обеспеченности. И никакие молитвы, никакие вопли нищеты и отчаяния ни от чего не избавляют и ничему не могут помочь (история Горшковых, Вареньки, Макара Алексеевича, история всех бедных и нищих людей, изображенных в романе). Выходит: чем более человек богат и обеспечен, чем больше у него средств на удовлетворение своих прихотей и страстей, тем он и впрямь совершеннее, тем он и ближе к Богу. Выходит: Фурье, Сен-Симон и их единомышленники правы. Непонятно только, о чем они хлопочут и зачем сочиняют проекты. Та «справедливость», которую они мечтают осуществить в строе гармонии, давно и повсеместно торжествует, ибо эта «справедливость» распределяет счастье в пропорции, соответствующей достатку. Задача, следовательно, лишь в том, чтобы избавиться от нищих, раздетых и голодных для благообразия общей картины и пущего удовольствия обеспеченных: «А еще люди богатые не любят, чтобы бедняки на худой жребий вслух жаловались,— дескать, они беспокоят, они-де назойливы! Да и всегда бедность назойлива,— спать, что ли, мешают их стоны голодные!» (1, 88). Выходит: именно для того, чтобы бедняки не мешали, чтобы только от них отвязаться, и следовало придумать хоть что-нибудь — столько же для нищих, сколько и для обеспеченных, с которыми и теперь уже более или менее все в порядке, ибо раз и навсегда «Бог с ними». Ср. характерную обмолвку Вареньки об Анне Федоровне и Быкове, не оставляющих ее своим «покровительством» и «благодеяниями»: «Бог с ними! Мне хорошо и здесь с вами...» (с Федорой и Макаром Алексеевичем, но без Бога), и слова Макара Алексеевича, вызванного наконец к «престолу» его превосходительства: «...предстал! ‹...› Вижу, стоят его превосходительство, вокруг него все они» (те же самые, «враги» его и «злые люди»). Поскольку дело обстоит так, а не иначе, то пути и судьбы бедных людей определяет не Бог, которому они возносят горячие мольбы и на которого возлагают все упования, но те, кто ближе к Богу и одновременно ближе к ним, нищим и обездоленным. Счастье бедных людей оказывается в руках известных и тех же самых: «Что со мною будет! Что еще мне готовит судьба!» (1, 97); «Что впереди, я не знаю. Что будет, то будет; как Бог пошлет» (1, 101, а также 104,

lib.pushkinskijdom.ru

106). Но, разумеется, Бог пошлет Вареньке только то, что захочет «добрый» Быков, в чьей власти ее судьба. Ср. в начале романа: «...маленькому Покровскому благоприятствовала судьба. Помещик Быков, знавший чиновника Покровского и бывший некогда его благодетелем, принял ребенка под свое покровительство» (1, 33).

Поскольку у бедняков одна судьба, естественно, что Страшный суд для Макара Алексеевича и начинается, и чуть ли не кончается у «престола» его превосходительства. Выше этого «престола» бедный герой, несмотря на его грехи («Я со слезами на глазах вчера каялся перед Господом Богом, чтобы простил мне Господь все грехи мои в это грустное время: ропот, либеральные мысли, дебош и азарт» — 1, 96), вряд ли кем-нибудь вообще «замечен» (пока во всяком случае не «замечен»): «...я всегда делал так, как будто бы меня и на свете не было. Так что едва ли его превосходительство были известны о существовании моем. Может быть, слышали так, мельком, что есть у них в ведомстве Девушкин, но в кратчайшие сего сношения никогда не входили». Если бы не ошибка в казенной бумаге («сам ли нечистый меня попутал, или тайными судьбами какими определено было, или просто так должно было сделаться» — 1, 91) и не пасквильно-неприличный вид, Макар Алексеевич не только Господом Богом, но и его превосходительством не был бы «замечен» и тоже — несмотря на «ропот, либеральные мысли, дебош и азарт»: «„Как же?.. посмотрите, в каком он виде!.. как он!.. что он!..“ ‹...› Слышу Евстафий Иванович говорит: „Не замечен, ни в чем не замечен, поведения примерного, жалованья достаточно, по окладу... ‹...› Обстоятельства, верно, такие, а поведения хорошего и не замечен, никогда не замечен“. Я, ангельчик мой, горел, я в адском огне горел! Я умирал!» (1, 93). За что же в этой ситуации (как и в той, которую она по закону зеркальной аналогии, предупреждая, отражает) казнить или миловать? осуждать или награждать? Исключительно за «обстоятельства», благодаря которым Макар Алексеевич занимает одну из самых нижних ступеней иерархической лестницы. Эта ступень ограничивает его способности до нищенски жалких размеров и его возможности до размеров, вполне подходящих таким способностям: «...чувствуя поневоле, что никуда не гожусь и что я сам немногим разве получше подошвы своей, счел неприличным принимать себя за что-нибудь значащее, а напротив, самого себя стал считать чем-то неприличным и в некоторой степени неблагопристойным. ‹...› Это так уже судьбою определено, и я в этом не виноват» (1, 82).

Безусловно, Макар Алексеевич не виноват в том, что волею судьбы поставлен в известные «обстоятельства», при которых его значение не больше значения какой-нибудь оторвавшейся пуговицы, стоп-

lib.pushkinskijdom.ru

танной подошвы или «ветошки, об которую ноги обтирают» (1, 79). Но какие могут быть притязания у «пуговицы» или «ветошки»? какие особые качества и достоинства? Никаких. При существующем порядке человеческие качества и достоинства целиком совпадают с достоинством (или ценой) достатка. Любые притязания на какое бы то ни было значение вне зависимости от денег и достатка — дерзость и неприличие. Ср. слова Анны Федоровны об отце Вареньки, внезапно (той же волею судьбы и обстоятельств) обнищавшем и умершем от отчаяния: «Явилась она со слезами на глазах ‹...› соболезновала о нашей потере, о нашем бедственном положении, прибавила, что батюшка был сам виноват: что не по силам жил, далеко забирался» (1, 29), о Вареньке и ее матушке: «Анна Федоровна ‹...› беспрерывно твердила, что уж мы слишком горды, что не по силам горды, что было бы еще чем гордиться» (1, 30). В состоянии крайней нищеты одна мысль о собственном достоинстве становится бедняку «не по силам», свидетельствуя об избытке гордыни и предосудительном стремлении слишком высоко забраться. Но что это значит? Только то, что в последней степени нищеты бедняк лишен и последней возможности — просто числить себя человеком.

Однако эта его лишенность, как и любая другая, увеличивает возможности и достоинство тех, кто выше, кто ближе к Богу. Ибо как бы мог его превосходительство показать свое превосходство и доброту, заслужить хвалу и честь, не будь перед ним Макара Алексеевича? Ср. далее: «Они не одного меня облагодетельствовали и добротою сердца своего всему свету известны. Из многих мест в честь ему хвалы воссылаются и слезы благодарности льются» (1, 95). Макар Алексеевич рассказывает о милосердии его превосходительства в выражениях, подобающих лишь славе Господа Бога. Но благодеяния его превосходительства с незначительными вариациями только повторяют благодеяния господина Быкова сначала по отношению к матери студента Покровского и Покровскому-отцу: «У них сирота одна воспитывалась. Изволили пристроить ее: выдали за человека известного, за чиновника одного, который по особым поручениям при их же превосходительстве находился», затем — по отношению к Покровскому-сыну: «Сына одной вдовы в какую-то канцелярию пристроили» (1, 95). Благодеяния его превосходительства, так же как и господина Быкова, скорее всего лишь минимальное возмещение ущерба, который благодетели наносят тому, кому благотворят. Ср. отношения господина Быкова с Варенькой: он отнял у нее честь, доброе имя, реальную надежду на счастье и благополучие, а потом вернул все это (в потускневшем виде) как доказательство личной заслуги, как благодеяние. В действительности, взяв чужую душу и тело в свою власть,

lib.pushkinskijdom.ru

он, оставаясь благодетелем, ничего не вернул вообще. Поэтому «слезы благодарности» в этом случае (и в других), по-видимому, совсем не от благодарности льются (ср. реакцию Вареньки на свадебное предложение Быкова: «Я так была поражена его предложением, что, сама не знаю отчего, заплакала. Он принял мои слезы за благодарность» — 1, 100). Точно так же: в этом случае (и в других) благодеяние не свидетельствует о чести; оно скрывает какую-то нравственную недостаточность, оно прячет бесчестье (ср. насмешки сослуживцев Макара Алексеевича по поводу благодеяний его превосходительства). Иначе и не бывает: ведь честь и слава любой услуги здесь возникает из ущемленности, из бесславья того, кто в ней нуждается; следовательно, они только явное или тайное воровство, захват в собственную пользу и для собственной выгоды чужого добра.

Благодеяние и соответствующая ему благодарность измеряются не добротой, а степенью чьей-то нужды. Чем больше нехватка, тем больше милость, тем больше и благодарность. Поэтому любая мелочь, не имеющая в глазах одних ни особого значения, ни особой цены (пожатие рук генералов, взятая в долг сторублевая бумажка), в глазах других (таких бедняков, как Макар Алексеевич) вырастает до невероятных размеров: «Я, маточка, почел за обязанность тут же и мою лепту положить, всем во всеуслышание поступок его превосходительства рассказал ‹...›. Я стыд-то в карман спрятал. Какой тут стыд, что за амбиция такая при таком обстоятельстве. Так-таки вслух — да будут славны дела его превосходительства!» (1, 95). Бывает, следовательно, такая крайность нищеты, когда самый стыд за нее становится обременительным. Не имея иных средств отплатить благодетелю за услугу и как-нибудь с ним рассчитаться, бедняк может его отблагодарить лишь признанием в собственном сраме («Я говорил увлекательно, с жаром говорил и не краснел, напротив, гордился, что пришлось такое рассказывать. Я про все рассказал ‹...› и про хозяйку мою, и про Фальдони, и про Ратазяева, и про сапоги, и про Маркова — все рассказал. Кое-кто там пересмеивались, да, правда, и все они пересмеивались» — 1, 95) и громкой хвалой. Вот и вся его «лепта» (ср.: Мк. 12, 41—44, Лк. 21, 1—4). И если признание в сраме было излишним (он и так всем виден, да и невозможно спрятать стыд в дырявый карман, ср. ранее: «...и его-то превосходительство мимо нашего стола иногда проходят ‹...›. Они-то, пожалуй, и ничего не скажут, да я-то от стыда умру ‹...›. Вследствие чего я, скрепившись и спрятав свой стыд в дырявый карман, направился к Петру Петровичу» — 1, 71, ср. также 79), то хвала здесь просто необходима, она в такой же степени является сердечным порывом, в какой и обязанностью, иначе в чем же еще «при таком обстоятель-

lib.pushkinskijdom.ru

стве» могла бы выразиться благодарность? Не имея никаких способностей, возможностей и прав, бедняк остается при одной обязанности (или, может быть, так: все способности, возможности и права сводятся для него к одной обязанности) — громко хвалить и благодарить свое начальство. Ср.: «Теперь, маточка, вот как я решил: вас и Федору прошу, и если бы дети у меня были, то и им бы повелел, чтобы Богу молились, то есть вот как: за родного отца не молились бы, за его превосходительство каждодневно и вечно бы молились! Еще скажу, маточка, и это торжественно говорю ‹...› не так мне сто рублей дороги, как то, что его превосходительство сами мне, соломе, пьянице, руку мою недостойную пожать изволили! Этим они меня самому себе возвратили. Этим поступком они мой дух воскресили, жизнь мне слаще навеки сделали...» (1, 93).

Если сто рублей Макару Алексеевичу не слишком дороги (они и в самом деле его не спасают), то за что же все-таки Макар Алексеевич так громко хвалит и в таком исступлении благодарит? Очевидно, за то, что генерал, пожалев горемыку и пожав ему руку, увидел в нем человека, ибо солому и ветошку, пуговицу и подошву не приветствуют и не награждают. Вот и все его благодеяние. Но ведь это абсурд, это насмешка. В том, что Макар Алексеевич человек, а не подошва или ветошка, не больше заслуг генерала, чем самого Макара Алексеевича. Здесь вообще нет места ни благодеянию, ни благодарности, их и не было бы, окажись вдруг тот и другой на одной и той же социальной ступени. Но в том-то и дело, что генерал увидел человека при «таком» или таких «обстоятельствах», при которых он унижен до положения подошвы и ветошки. Вот за эти-то «обстоятельства», за которые его превосходительство из прихоти и ради собственного удовольствия Макара Алексеевича награждает, Макар Алексеевич, в свою очередь, хвалит и благодарит. А больше благодарить ему решительно не за что.

Но какая скорбь! и какая ирония судьбы! В логике иерархических отношений получается так, что чем более человек нуждается и унижен, тем более у него поводов хвалить и благодарить. И не только поводов, но и обязанности. Ибо не поблагодари Макар Алексеевич — и выйдет, что он и впрямь солома и пуговица, подошва и ветошка, которых, правда, не награждают, но которые и не благодарят. Отсюда надрывная гордость Макара Алексеевича («Я говорил увлекательно, с жаром говорил и не краснел, напротив, гордился, что пришлось такое рассказывать»): у него нет иной возможности заявить о своем достоинстве (достоинстве человека, а не ветошки), кроме как распространиться о собственном сраме и пропеть хвалу «обстоятельствам». У бедняка вообще нет ни пути, ни выбора (ср.: «...что же мне

lib.pushkinskijdom.ru

делать, друг мой, что же мне делать? Из чего выбирать мне?»): либо он принужден просто терпеть позор, либо он принужден это делать с благодарностью. Между этими «крайностями» умещается вся его свобода. И неизвестно — что хуже: в последнем случае, хотя и в парадоксально-пасквильной форме, у человека по крайней мере сохраняется потребность быть человеком, а в первом — нельзя разглядеть и этой потребности. Впрочем, даже и это неизвестно: в молчании трудно различить что бы то ни было.

Казалось бы, чем более человек обеспечен, тем более он свободен от нужд, и эта свобода увеличивается от ступени к ступени социальной лестницы вплоть до самой верхушки. В известном смысле так и есть. Но, разумеется, на всех ступенях, включая верхушку, никто не свободен от них вполне, ибо абсолютной свободой владеет только Бог. А где зависимость, там принуждение. Если даже единственная нехватка (или каприз, воспринимаемый как нехватка) лишает человека покоя и счастья и находится благодетель, способный этим счастьем наделить, то возвращается та самая ситуация, суть которой вполне очевидна внизу, у подножья социальной пирамиды. Она возвращается и тогда, когда вместо благодетеля в той же роли выступает целая корпорация (ср., например, благодеяния Емеле — 1, 68—69). Вот почему при строе гармонии, основанном на неравенстве, взаимных выгодах и услугах (тоже, естественно, неравных) и на преобладании таких страстей, как корысть и тщеславие (Фурье), ничего не меняется: любое благополучие приобретается ценою нравственного ущерба. Ср. у Фурье: «Какие средства использую я? Свободу, честь, очарование, приманку славы и высоких положений, развлечения действенной и проникнутой интригами жизни»[51]. Будто свобода соединима с приманкой! Будто принуждение утрачивает свою суть, когда меняет кнут на пряник! Будто истинная честь уживается с жаждой славы и высоких положений! И разве добровольное рабство чему бы то ни было не унизительнее, не позорнее вынужденного повиновения, говорящего о сопротивлении и внутренней свободе? И если теперь человек теряет достоинство, как ни смешно и как ни скорбно, из-за потребности быть человеком, то потом он станет это делать из-за какого-нибудь пустейшего и длиннейшего титула, звучной абракадабры, написание которой заняло бы целую страницу[52]. Насколько ничтожнее такая забота любо́ действительно серьезной нужды! И это называется «Бог готовит нам благосостояние, значительно превышающее наши посредственные вожделения...» (например, желание быть сытым, одетым, свободным в проявлении нормальных способностей, отнюдь не сводящихся к детской игре)![53] Но какой был бы срам, какой стыд человеческому роду, серьезно заня-

lib.pushkinskijdom.ru

тому борьбой и интригами из-за смешной чепухи и какое, должно быть, развлечение смотреть сверху и со стороны на эту возню! Ведь целью корыстных и честолюбивых стремлений здесь было бы само бесчестье. Причем, чем выше находился бы человек на иерархической лестнице, чем в большей мере место реальных нужд занимала бы прихоть, тем очевиднее было бы и бесчестье. В таком случае общее ликование по поводу всех этих интриг и их результатов для того, кто не расположен смеяться, означало бы сплошные слезы. Ибо человек (в противоположность тому, что утверждал Фурье), не меняя по существу путей и судеб (благополучие там и тут основывается на неравенстве иерархических отношений и в его пределах), не меняя «хода страстей», через соперничество влекущего к достижению личной выгоды и интереса, здесь меняет собственную природу, отказываясь от многообразия высоких ее даров в пользу достоинств приводимой в действие простейшим механизмом игрушки[54], единственное преимущество которой перед подошвой и ветошкой заключается в том, что, глядя на ее подвиги и затеи, над нею можно с большим удовольствием посмеяться. Ведь главные наслаждения при строе гармонии — «любовь и стол», отнюдь не богатства человеческого духа[55]. Если учесть, что к этому своему духовному ничтожеству человек захочет приобщить и Бога, от души возблагодарив его, то тут уже будет не до смеха, тут впору будет хохотать (или горько плакать). Ср. у Фурье: «...при социетарном строе любовь к Богу становится пылкой страстью у всех людей: наслаждаясь каждый миг новыми удовольствиями и носясь по волнам океана отрад (с резвостью и в границах, дарованных каждому его социальной ступенькой.— *В. В.*), они будут испытывать нужду в том, чтобы ежечасно обращать к создателю столь прекрасного порядка свои выражения преданности. <...> Религиозные собрания в храмах будут недостаточны для их выражений благодарности; в своих трудовых или развлекательных группах они захотят еще видеть в своей среде некую эмблему благодетеля мира, приобщать его некоторым образом к своему счастью и возглашать на каждом собрании гимн во славу его»[56].

Но как быть с теми, кто не захочет примкнуть к восторженному хору и усомнится в справедливости порядка, где благополучие человека, как и ныне, зависит совсем не от способностей, а от меры достатка? Ибо для того чтобы получить всевозможные наслаждения, богачу не нужно никаких способностей, кроме одной — сохранить и приумножить свое имение. И эта же способность (даже в большей степени) нужна бедняку, который при любых способностях не получит тех же наслаждений без соответствующего богатства. Тогда в чем разница между тем, что уже существует, и тем, что проектируется?

lib.pushkinskijdom.ru

в том, что наглая сила богатства пока воспринимается все-таки как аномалия и унижение человека, а потом она станет восприниматься как признанная норма «счастливой» гармонии, как законное основание для общего восторга. Так что лучше? Просто унижение или унижение, встречаемое восторгом? Последнее указывало бы на такое насилие над собственной природой и такую больную ущербность души, которая равнозначна ее перерождению. Ср. состояние Макара Алексеевича после всех его молитв о счастии его превосходительства: «Я теперь в душевном расстройстве ужасном, в волнении ужасном! Мое сердце бьется, хочет из груди выпрыгнуть. И я сам как-то весь как будто ослаб ‹...› все эти впечатления-то утренние потрясли все существование мое. Я прилягу. Мне, впрочем, покойно, очень покойно. Только душу ломит, и слышно там, в глубине, душа моя дрожит, трепещет, шевелится» (1, 93—94).

Если реформаторы и благодетели человечества способны предложить лишь такое «счастье», которое и сохранит, и под благовидной внешностью умножит существующее зло (а ничего другого они предложить не способны, поскольку и они «с ними», с теми же самыми), то единственное благодеяние, какое они на самом деле могли бы оказать человеческому роду,— это оставить все, как есть. В конце концов уже и теперь достаточно хорошо, т. е. очень плохо.

Но как же Бог? Что бы Фурье ни говорил о том, что Бог не виноват в страданиях людей, что человек не виноват в них тоже, кто-то или что-то все равно виноваты. Ср.: «...а уж так, я и не знаю, что́ виновато. Уж такое дело темное, маточка» (1, 82); и о Горшкове: «А дело у него неприятное. Он, видите ли, Варенька, за что-то перед судом в ответе находится ‹...› дело запутано, а между тем жить было нужно; а между тем ни с того ни с сего ‹...› ребенок родился,— ну, вот и издержки; сын заболел — издержки, умер — издержки; жена больна; он нездоров застарелой болезнью какой-то: одним словом, пострадал, вполне пострадал. Впрочем, говорит, что ждет на днях благоприятного решения своего дела...» (1, 90). У Макара Алексеевича и Горшкова в сущности одно и то же «темное», «неприятное» и «запутанное» дело — дело об их бедности и несчастье. Мысль Фурье о том, что Бог допускает страдания людей для того, чтобы научить их истинным путям к счастью (приспособленная к философской системе вариация расхожего представления), ничего не объясняет. Если дело обстоит так, как говорит Фурье, то почему эту суровую науку проходят Горшков, Макар Алексеевич и Варенька, а не Быков и Анна Федоровна? Ведь не все же страдают от бедности. А известно, каким «путям», «хорошим дорогам» и какому «счастью» научает бедность — разве что счастью полного избавления от муки, могильному заб

lib.pushkinskijdom.ru

вению и покою. И никакому больше (ср. историю Вареньки, Макара Алексеевича, Горшкова).

Но Бог все «видит» (ср. повторяющийся мотив «Бог видит»), все «знает» (ср. «Бог знает»). Неясно только, что он чувствует, что думает и чем занят. Решая этот тоже достаточно «темный», «запутанный» и «неприятный» вопрос, Фурье пускался в область безудержных и своевольных фантазий. Немудрено: зеркало, в котором он рассматривал человека, мир, Бога, заметно кривило, с насмешливой услужливостью представляя картину, льстящую слишком субъективному и прихотливому вкусу. Фурье постарался увести Бога на приличное расстояние от этой юдоли скорбей, где правит зло, ради вящей славы Создателя в воображаемой гармонии, где предполагается сплошное благо. Но почему? Откуда вдруг такая забота о «репутации» Создателя? В логике Фурье это непонятно. Ведь если Бог одержим страстью к разнообразию (настолько глубокой, что она учитывается в самих организационно-иерархических формах строя гармонии), то почему это разнообразие должно ограничиваться пределами блага, а не захватить кое-что и из области зла? Почему не захватить и всю эту область? Ведь Бог никем и ничем не ограничен. В любом случае, разделяя преисподнюю и светлые сферы, философ трудился напрасно. Поскольку внимательному и беспристрастному взгляду ясно, что несчастное настоящее и счастливое будущее объединяет один порядок, Бог раз и навсегда остается на должном месте и там, где следует. Может быть, правда, что тут и там на должном месте не Бог, а дьявол, поскольку настоящее, по утверждению Фурье,— творение духов преисподней. Как бы то ни было, взятый в полемических целях принцип и метод зеркальной аналогии позволяет различить знакомые отношения за границами видимого мира.

И впрямь: даровав человеку жизнь, разум, чувства, способности, Бог тотчас начинает за это благодеяние взыскивать. Но не со всех и не в равной мере. Почему? По-видимому, из желания того же разнообразия, из прихоти и каприза, ради увлекательного зрелища, представляемого множеством мелких интриг и захватывающей общей интригой. Чем человек беднее, тем меньше по необходимости он может удовлетворить свои потребности — естественные запросы, возникающие в результате отпущенных ему даров. В самом низу социальной лестницы помещаются те, у которых ввиду полной нищеты остается наконец одна потребность (и ту они сплошь и рядом не могут удовлетворить) — потребность просто числиться человеком, а не ветошкой. И все.

Поскольку это так, то самый вызов на Страшный суд для таких бедняков, как Макар Алексеевич,— тоже великое благодеяние. По

lib.pushkinskijdom.ru

крайней мере насчет последней своей тревоги они могут вполне успокоиться. Ведь если в течение всей своей жизни из-за отдаленности ведомственных «сношений» бедняк и не был «замечен», то в наиболее решительный час он все-таки не был забыт. Он вызван на суд, уж конечно, в качестве человека, а не ветошки, ибо ветошку бы не позвали, она и безответственна и безответна. Но что же дальше? Дальше то, что и следует: за все благодеяния (т. е. за всю свою жизнь) бедняк обязан отчитаться. Хочет он этого или не хочет (в отличие от ситуации с его превосходительством, где от Макара Алексеевича никто не требовал отчета), он вынужден на этот раз заплатить окончательным разоблачением. А «бедные люди капризны ‹...›. Он, бедный-то человек, он взыскателен; он и на свет-то Божий иначе смотрит, и на каждого прохожего косо глядит, да вокруг себя смущенным взором поводит, да прислушивается к каждому слову,— дескать, не про него ли там что говорят? Что вот, дескать, что же он такой неказистый? что бы он такое именно чувствовал? что вот, например, каков он будет с этого боку, каков будет с того боку? И ведомо каждому, Варенька, что бедный человек хуже ветошки и никакого ни от кого уважения получить не может, что уж там ни пиши!» (1, 68). Однако, постоянно сознавая свою нищету и бесчестье, бедняк, пока живет, обычно мучается пустыми опасениями. Как он одет и обут, что ест и пьет и — особенно — что чувствует и думает, интересует разве лишь господ сочинителей «натурального» направления: «...есть ‹...› такой господин, что вот идет куда-нибудь к ресторану да говорит сам с собой: что вот, дескать, эта голь чиновник что будет есть сегодня? а я сотепапильйот буду есть ‹...›. И они ходят, пасквилянты неприличные, да смотрят, что, дескать, всей ли ногой на камень ступаешь али носочком одним; что-де вот у такого-то чиновника, такого-то ведомства, титулярного советника, из сапога голые пальцы торчат, что вот у него локти продраны — и потом там себе это все и описывают и дрянь такую печатают... А какое тебе дело, что у меня локти продраны?» (1, 69). Но, разумеется, и эти и другие люди гораздо больше думают о себе, чем о Макаре Алексеевиче. Ведь на любой ступени иерархической лестницы каждый человек в сравнении с тем, кто выше, в чем-то обойден и чем-то обездолен. Правда, далеко не все испытывают унизительную нужду в самых необходимых вещах: «Да уж если вы мне простите, Варенька, грубое слово, так я вам скажу, что у бедного человека на этот счет тот же самый стыд, как и у вас, примером сказать, девический. Ведь вы перед всеми ‹...› разоблачаться не станете; вот так точно и бедный человек не любит, чтобы в его конуру заглядывали, что, дескать, каковы-то там его отношения будут семейные...» (1, 69).

lib.pushkinskijdom.ru

Но что же с бедным человеком станет тогда, когда, выставленный перед всеми, он действительно всеми будет замечен? Макар Алексеевич стыдился голых пальцев и голых локтей, когда на него никто не смотрел. Что же с ним станет, когда его все-то увидят? Он «в адском огне горел» и едва не сошел с ума перед «престолом» его превосходительства. Какое же преисподнее пламя, какие судороги стыда его охватят и сотрясут перед сонмом нездешних сил на виду у целого света?[561] Тут уж точно есть от чего с ума сойти. В то время как на Страшный суд все явятся, так сказать, в натуральной форме, без облачений, Макар Алексеевич (в противоположность другим и как бы для смеха, совсем не подходящего значительности момента, а, может быть, напротив, как раз и восполняющего значительность момента подходящей веселостью) явится в рваных сапогах и прежнем отрепье. Ибо куда они денутся? Что им без Макара Алексеевича, что ему без них? Ведь если пуговка и отскочила от его ветошки, то сама ветошка вместе с рваными сапогами к Макару Алексеевичу давно приклеились. Да и пуговка никуда не делась: «Тут уж я чувствую, что и последние силы меня оставляют, что уж все, все потеряно! Вся репутация потеряна, весь человек пропал! ‹...› Наконец поймал пуговку, приподнялся, вытянулся, да уж, коли дурак, так стоял бы себе смирно, руки по швам! Так нет же: начал пуговку к оторванным ниткам прилаживать, точно оттого она и пристанет; да еще улыбаюсь, да еще улыбаюсь» (1, 92—93). Но, вопреки реализму и для пущего торжества насмешливо-прихотливой фантастики, пуговка, конечно, к оторванным ниткам приладилась и пристала, чтобы в прежней гармонии на них мотаться. Ведь преимущественно этой «дрянью» (подошвами, сапогами, ветошкой и пуговкой) и заняты по необходимости чувства и мысли Макара Алексеевича, занята его душа.

Однако с этой души и спросят. Ее-то и разоблачат. И что же, разоблачив эту душу, увидят? Именно то, для чего не требовалось никаких разоблачений,— ту же пуговку, те же рваные сапоги и ветошку, т. е. вещественные доказательства полной невинности и столь же полного бесчестья, крайней бедности и душевной невзгоды, на которые бедняка обрекает занимаемая им ступень ведомственного порядка. Увидят, как в зеркале, и самый этот порядок, где добродетель, честь и утеха заключаются в том, чтобы над кем-то подняться и кого-то превзойти, а порок, позор и горе — оказаться кого-то (или многих, или всех) ниже. Эта способность к превосходству и униженности (в размерах, соответствующих социальной ступени и достатку) и реализуется иерархическим порядком, а все остальные способности, как бы богаты и разнообразны они ни были, и все остальные

lib.pushkinskijdom.ru

запросы, как бы они ни были серьезны, никого не волнуют. Поэтому та или иная «дрянь» в приличном или неприличном виде здесь занимает все души. Ср.: «Да что он вам-то, маточка, Быков-то? ‹...› Вы, может быть, оттого, что он вам фальбалу-то все закупает, вы, может быть, от этого! Да ведь что же фальбала? зачем фальбала? Ведь она, маточка, вздор! Тут речь идет о жизни человеческой, а ведь она, маточка, тряпка — фальбала; она, маточка, фальбала-то — тряпица» (1, 108).

Но в том-то и дело, что жизнь человеческая и человеческая душа при иерархическом порядке дешевле «тряпицы». Ведь все, что не является вещью и, следовательно, не переводимо на деньги, здесь не имеет никакой цены. Вот почему этот порядок — порядок всякой «дряни»: внизу убожество рваных сапог и ветошек, вверху величие и красота застегнутого на все пуговицы мундира, любой другой такой же «тряпицы». И ни тут ни там не требуется души. Ср.: «Мало того, что злые люди вас погубили, какая-нибудь там дрянь, забулдыга вас обижает. Что фрак-то на нем сидит гоголем, что в лорнетку-то золотую он на вас смотрит, бесстыдник, так уж ему все с рук сходит ‹...›. Полно, так ли, голубчики! А отчего же это все? А оттого, что вы сирота, оттого, что вы беззащитная ‹...›. А ведь что это за люди, которым сироту оскорбить нипочем? Это какая-то дрянь, а не люди, просто дрянь; так себе, только числятся, а на деле их нет, и я в этом уверен. Вот они каковы эти люди!» (1, 86). Но так это и выходит при известном порядке: одни хотят, но не могут; другие могут, но не хотят быть людьми. И все ими только числятся. Каждый предпочитает свои затеи чужим нехваткам, свое удовольствие чужой скорби, и ничто не мешает для вящего разнообразия, чтобы кто-то испытывал удовольствие как раз от чужой беды. Однако при всем разнообразии нельзя не разглядеть и единства в игре страстей и общей интриге: все предпочитают ценность вещей ценности своей и чужой души. Но такое предпочтение — ущерб человеческому достоинству. Оно свидетельствует либо о вынужденном, либо о добровольном рабстве. У вещей (и денег), денег (и вещей). Между тем любое преимущество в достатке как раз и означает это предпочтение, соединенное с душевным ущербом. Ибо благополучие каждого, действительно поставленное в связь с благополучием всех, предполагает равенство, при котором нет места униженности, поскольку нет места превосходству. Вот почему социальная лестница больших и больших преимуществ, новых и новых превосходств демонстрирует на самом деле не постепенно возрастающую честь и славу, а постепенно возрастающее бесчестье. Ибо начиная с тех ступеней общественного порядка, где уже нет речи о необходимом и где господствует каприз и прихоть, гос-

lib.pushkinskijdom.ru

подствует и полное забвение реальных нужд живой и страдающей души. Униженная постоянной заботой о самых ничтожных и вместе с тем самых необходимых вещах, являющихся в глазах людей обеспеченных предметом насмешки, эта душа может заявить о себе лишь скорбью и мукой. Поэтому бедному человеку было бы легче, если бы никакой души у него и впрямь не было, ведь она для него в некотором смысле роскошь, слишком тяжкая при его «обстоятельствах», при его «достатке», состоящем из рваных сапог и ветошки.

Принимая во внимание эту страшную недостаточность, низводящую до ничтожества и позорящую его душу, Макара Алексеевича и на Страшном суде, разумеется, пожалеют. И наградят. Не сторублевой бумажкой (ср.: «чем могу»), а благодеянием, достойным безграничного могущества,— вечным блаженством. Да и как иначе? Ведь Макар Алексеевич более или менее безгрешен, безгрешен в силу «обстоятельств». Ибо нет греха в том, что делается по необходимости. Но в том, что делается по необходимости, нет и добродетели. Грех и добродетель начинаются там, где есть свобода, есть выбор. А какая же свобода и выбор у Макара Алексеевича? Поэтому если Макар Алексеевич и переживет всесветный срам, а не умрет еще раз (уже для торжества реализма и вопреки насмешливо-прихотливой фантастике), то сама награда, за которую он, разумеется, поблагодарит (и будет благодарить дальше целую вечность), обернется для него еще бóльшим позором. Ибо за что же его награждают и за что он благодарит? За то, что он, образ Божий и подобие Божие, «ни с того ни с сего», без собственной воли и желания был произведен в подошву и ветошку, не имеющих вообще никакого образа и подобия, был унижен до потери всякого достоинства. За то, что чувства и разум ему были дарованы лишь для того, чтобы это унижение, эту страшную нищету воспринять в полной мере, умом и сердцем, и ни для чего больше. За то, что он «ни с того ни с сего» был поставлен в «обстоятельства», при которых он так же мало имел возможность грешить, как и проявлять добродетель. Следовательно, награды и благодарности здесь заслуживают именно эти «обстоятельства», а не Макар Алексеевич, который их не выбирал да, будь его воля, разумеется, никогда бы и не выбрал.

Но представим ситуацию Макара Алексеевича в гармонии Фурье. У бедняка не будет забот ни о рваных сапогах, ни о ветошке. Однако точно так же, как и теперь, «ни с того ни с сего» он бýдет беднее каждого и хуже прочих. И об этих обстоятельствах возвестит миру его самый бедный титул, самая бедная форма, соответствующие значки и даже знамена. У Макара Алексеевича не будет ни рваных сапог, ни рваных локтей, но будет работа для бедных, стол для бедных,

lib.pushkinskijdom.ru

любовь для бедных. Между тем все остальные станут наслаждаться в меру своих достатков и без всяких помех в виде чьих бы то ни было стонов. Так что же будет чувствовать и что думать Макар Алексеевич? Уж конечно, «то же самое»: «Ты, дескать, Иванушка-дурачок, ройся в мешках дедовских, пей, ешь, веселись, а ты, такой-сякой, только облизывайся; ты, дескать, на то и годишься, ты, братец, вот какой!». При этом всякая жалоба бедного человека на свой жребий умолкнет, она будет формально запрещена как страшный грех и преступление, как чудовищная неблагодарность благодетелям — и людям, и Богу. Ведь решено, что бедняк счастлив, что никакого другого и лучшего порядка не может быть ни на земле, ни в каком-нибудь фантастическом будущем, потому что и этого будущего, собственно, не предполагается. Откуда бы оно взялось? Никакое счастье не мыслимо для Фурье без главных наслаждений — любовных и гастрономических отрад, которые в избытке отпущены строю гармонии. Правда, Фурье не отрицал бессмертия души. Он полагал, что души тех, кому не довелось жить при этом строе, косвенным образом будут участвовать в счастье своих удачливых потомков[57]. Иначе говоря, они будут смотреть на них и «облизываться». И этак день за днем, почти целую вечность. Но такое бессмертие, в котором трудно различить, где награда, а где казнь, если бы оно состоялось, выглядело бы самой ехидной насмешкой. Ведь для того, чтобы смотреть и облизываться, не нужно никакого бессмертия, не нужно даже гармонии, поскольку таким «блаженством» владеет последний нищий уже сейчас. Не нужно не только бессмертия и гармонии, но и грешной или безгрешной души, так как для того, чтобы смотреть и облизываться, вообще не нужно быть человеком. Ввиду такого поворота традиционные представления о бессмертии, обещающие торжество духа и высшей справедливости, безусловно гораздо утешительнее и более достойны человеческих упований.

Но что же на Страшном суде будет с теми, кто обеспечен? Казалось бы, у них есть выбор, есть свобода. Однако и они не выбирают своих «обстоятельств». А эти «обстоятельства» от ступени к ступени повышают требование достатка и расширяют границы необходимого. Поэтому то, что снизу представляется излишком, сверху кажется более или менее смешной (следовательно, более или менее постыдной) нехваткой. Отсюда общее стремление подняться вверх, которое может быть осуществлено лишь за чей-то счет. В результате: снизу доверху социальной лестницы — та или иная нужда, и сверху донизу — тот или иной избыток. Даже положение Макара Алексеевича на его взгляд (до поры до времени), на взгляд Горшкова и тех, кто просит милостыню Христа ради, вполне «достаточное» — достаточ-

lib.pushkinskijdom.ru

ное для того, чтобы поделиться. Вот почему в сцене с его превосходительством, едва Макар Алексеевич взглянул вниз и нагнулся в поисках пуговки, у него «в обоих ушах ни с того ни с сего и Тереза, и Фальдони, и пошло перезванивать» (1, 92). Но Макару Алексеевичу за его сокрушительную «достаточность» генерал «всунул <...> в руку» сторублевую бумажку — малую дань чужой униженности и собственному превосходству, которая еще ниже опускает Макара Алексеевича и еще выше поднимает его превосходительство. Однако, какими бы соображениями он ни был движим, генерал сделал то, что мог, и даже больше, потому что он мог бы этого и не делать. Стало быть, иногда и «они» помогают. Кто чем может (ср.: «чем могу») — в зависимости от «обстоятельств». Помогают, разумеется, не столько беднякам, в положении которых эта помощь по существу ничего не меняет, сколько иерархическому порядку. Итак, свобода и выбор каждого здесь весьма относительны. Они ограничены «обстоятельствами» той или иной социальной ступени и «обстоятельствами» общего порядка. Поэтому если тут что и наказывать или награждать, то в первую очередь не людей, а этот порядок и его «обстоятельства».

Но какая странная прихоть, какая насмешливая мысль спрашивать отчета с душ, которые, в отличие от денег и вещей, на всех ступенях социальной лестницы могут вообще отсутствовать, поскольку они-то и составляют самый очевидный избыток! Ведь внизу нет никакой возможности, а вверху никакой необходимости оставаться людьми. И если там и тут прорываются страсти и помышления, не связанные с эгоистическим расчетом, исполненные, напротив, бескорыстной и высокой духовности, то отнюдь не благодаря, а вопреки «обстоятельствам». Ибо все здесь в плену у порядка, который у людей отнимает свободу и отдает их в рабство вещам и деньгам. В итоге все нищие, включая самых богатых, смешные куклы, обменивающие на ту или иную «дрянь» свои бесценные души. Ср.: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою?» (Мф. 16, 26). В самом деле, если можно отдать свою душу за копейки, то и за все сокровища мира невозможно купить ее. «Что, скажи мне, постоянно в здешнем мире? Богатство ли, которое часто не остается и до вечера? Слава ли? Но послушай, что говорит один праведник: *житие мое есть легчае скоротечца* (Иов. IX, 25). Как скороходы не успевают стать, как уже уходят далее, так и слава не успеет прийти, как уже улетает. Нет ничего драгоценнее души: это небезызвестно и тем, которые дошли до крайнего безумия. „Душе ничто не равноценно", сказал поэтически некто из внешних»[58]. Однако в крайнем безумии это все-таки неизвестно (ср.: «Не обратил ли Бог мудрость мира сего

lib.pushkinskijdom.ru

в безумие?» — 1 Кор. 1, 20), и как раз такая неизвестность и свидетельствует о крайнем безумии. И неужели «Бог с ними» — с насмешниками, исповедующими мудрость мира сего и одобряющими порядок, где над человеком господствуют вещи и душа замещается внешним видом и формой «тряпицы»? Ср.: «Думаю-думаю, авось Господь ему на душу положит, Петру Петровичу благодетелю, да и даст он мне взаймы <...> а то такой срам: жутко даже на месте сидеть, кроме того, что вот зубоскалы-то наши смеются, Бог с ними! Да еще и его-то превосходительство мимо нашего стола иногда проходят; ну, сохрани Боже, бросят взор на меня да приметят, что я одет неприлично! А у них главное — чистота и опрятность» (1, 71).

Лишая всех истинного блага, иерархический порядок связывает всех узами зла. Обесценивая нетленное богатство, он придает цену тому, что ее не имеет. Превращает добродетель в порок и порок в добродетель. Всех обездоливает и всех унижает — и тех, кто это сознает, и еще вернее тех, кто об этом не ведает. Чистые чувства, святые понятия и высокие устремления духа делает предметом глумления и циничной ухмылки. Все выворачивает наизнанку и все опошляет. Под покровом разнообразия скрывает единство общей нищеты и позора — самой насмешливой и оскорбительной для человека игры и интриги, в результате которой он, созданный владычествовать над миром (ср.: «И благословил их Бог и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю и владычествуйте...» — Быт. 1, 28), оказывается рабом каких-нибудь рваных сапог и ветошки, любой другой ничтожной «тряпицы». Какая глумливая издевка! А если учесть, что лучшие умы человечества в усилиях спасти его и осчастливить не могли придумать ничего иного, кроме повторения того же самого порядка, отдающего бессмертные души в рабство бездушным вещам, ничего иного, кроме принуждения людей к беспрерывной хвале и благодарности за свой позор и бесчестье, то комический эффект этой игривой затеи будет еще оглушительнее.

Но для кого? Кто устроил такой порядок и кого он устраивает? Не людей, если они хотят ими быть, а не только числиться. И не Господа Бога. Ибо какой была бы здесь роль творца и устроителя этой пасквильной комедии и интриги? За мифические блага он взыскивает слишком реальные и большие проценты. Не столько дав, сколько поманив человека дарами земли и неба, он в действительности оставляет ему лишь жалкие способности, которые нужны иерархическому порядку и которые противопоставляют каждого всем и всех каждому, сталкивая людей во взаимной вражде и неся им стыд и горе даже тогда, когда они, кто чем может, «помогают»... Но почему бы не помочь Тому, кто может все? В чем в таком случае за-

lib.pushkinskijdom.ru

ключается высшее могущество? По-видимому, в том, чтобы сохранить этот гнусный порядок, раз и навсегда удержав таких, как Макар Алексеевич, внизу социальной лестницы, в положении более приличной или менее приличной ветошки. Выйти человеку из этой игры по собственному желанию нельзя (это самый страшный грех, которому нет прощения), протестовать бессмысленно (поскольку нет инстанции для апелляции и протеста), да и протест здесь — грех; напротив, требуется хвала и благодарность. Но неужели Господу Богу нужна благодарность опозоренной и несчастной «ветошки»? Если это отец и благодетель, то кто же тогда человеку злейший враг? Если это Бог, то кто же дьявол? Ср. замечание Макара Алексеевича об отскочившей пуговице, покатившейся одновременно и к бесу, и к стопам его превосходительства (характерная параллель, сближающая чиноначалие земли и преисподней и восходящая к сцене распекания в «Шинели»): «Моя пуговка — ну ее к бесу — пуговка ‹...› вдруг сорвалась, отскочила ‹...› покатилась и прямо-таки, так-таки прямо, проклятая, к стопам его превосходительства ‹...›! Вот и все было мое оправдание, все извинение, весь ответ...» (1, 92). Точно так же как в иерархическом порядке нет места душе, в нем нет места и Господу Богу. А если бы дело обстояло иначе, то самому Богу было бы лучше, чтобы его вообще не было, ведь он ничем не отличался бы от злобного владыки преисподней. Вспоминая о возникновении замысла «Бедных людей» («Петербургские сновидения в стихах и прозе», 1861), Достоевский писал: «И вдруг, оставшись один, я ‹...› задумался. И стал я разглядывать и вдруг увидел какие-то странные лица. Все это были странные, чудны́е фигуры, вполне прозаические, вовсе не Дон Карлосы и Позы, а вполне титулярные советники и в то же время как будто какие-то фантастические титулярные советники. Кто-то гримасничал передо мною, спрятавшись за всю эту фантастическую толпу, и передергивал какие-то нитки, пружинки, и куколки эти двигались, а он хохотал и все хохотал. И замерещилась мне тогда другая история, в каких-то темных углах, какое-то титулярное сердце, честное и чистое, нравственное и преданное начальству, а вместе с ним какая-то девочка, оскорбленная и грустная, и глубоко разорвала мне сердце вся их история» (19, 71). Разумеется, гримасничать и хохотать над разрывающими сердце историями и историей мог только дьявол. Именно он и способен с помощью злодейского порядка (этих пружин и ниток) сделать из жизни комически-жуткую фантастику, постараться отнять у людей высокий дух и душу и, низводя всех по ступеням социальной лестницы к большему и большему бесчестью, в кривом зеркале представить и образ Божий, и Бога. Ибо нельзя унизить и опозорить человека, не унизив и не опозорив его Творца. Но

lib.pushkinskijdom.ru

Бог наделил человека свободой не для того, конечно, чтобы он подчинился злодейскому порядку и ветхому идолу мира сего — вещам и деньгам[59]. Сказано: «Не собирайте себе сокровищ на земле ‹...› Но собирайте себе сокровища на небе ‹...›. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. ‹...› Не можете служить Богу и мамоне» (Мф. 6, 19—21, 24). И еще: «Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу...» (2 Кор. 3, 17—18). Мысль о том, что Бога устраивает порядок, бесславящий человека и его Творца, была бы величайшим кощунством.

Итак, полемизируя с христианскими утопистами (последователями Сен-Симона и Фурье), проектирующими новое общество на прежней иерархической основе, Достоевский ставит их перед необходимостью согласиться с одним из двух решений: 1) иерархический порядок (проектируемый точно так же, как и существующий) не имеет отношения к благодеяниям Бога, он несправедлив и греховен; 2) а если он справедлив и безгрешен, то он создан и управляется дьяволом. Иначе говоря, положив в основание полемики доводы ex concessis, Достоевский приводит важнейшие теоретические положения противника к абсурду. Только на почве равенства (ср. раннехристианские общины), по глубокому убеждению писателя, и возможна социальная организация, действительно ближайшим образом соответствующая планам и видам Бога[60].

Но одна проблема, которая издавна занимала умы теологов и философов и которую Достоевский ставит уже в «Бедный людях», выходит за границы полемики с западными христианскими утопистами. Это проблема человеческих страданий и совместимости их с благой природой Творца.

Если зло заключено в иерархическом порядке, если именно он прежде всего и виноват во всех бедах, то зачем такой порядок нужен вообще? Зачем он нужен Господу Богу? Если люди страдают за первородный грех[61], то, спрашивается, почему от этих страданий избавлены и Быков, и Анна Федоровна, люди «достаточные» и те же самые, а не Варенька, не Макар Алексеевич, не Горшков? Если все наказаны за грехи отцов, то почему самые грешные из отцов, такие как Быков, благоденствуют без всяких упреков совести (ср.: «С моей стороны и я в этом случае подлецом оказался, да ведь что, дело житейское» — 1, 100), а брошенные ими дети мучаются с младенчества и до смерти? Ср. рассказ о Петеньке Покровском, сыне господина Быкова: «Каждый день выходил он в своей легкой шинельке хлопотать по своим делам, просить и вымаливать себе где-нибудь места — что его внутренно мучило; промачивал ноги, мок под дождем и, на-

lib.pushkinskijdom.ru

конец, слег в постель, с которой не вставал уже более...» И затем: «Он просил поднять занавес у окна и открыть ставни. Ему, верно, хотелось взглянуть в последний раз на день, на свет Божий, на солнце. <...> Солнца не было. Облака застилали небо туманною пеленою; оно было такое дождливое, хмурое, грустное. Мелкий дождь дробил в стекла и омывал их струями холодной, грязной воды; было тускло и темно. В комнату чуть-чуть проходили лучи бледного дня и едва оспаривали дрожащий свет лампадки, затепленной перед образом. Умирающий взглянул на меня грустно-грустно и покачал головою. Через минуту он умер» (1, 44—45). Не господину Быкову, а именно Петеньке нет почему-то места под солнцем.

Далее. Если страдания необходимы как «залог» райского блаженства, будущей небесной награды (ср. характерную в этом плане перекличку мотивов похода Макара Алексеевича к ростовщику и мотивов выигранного Горшковым судебного процесса — 1, 77—78, 97—98), то почему опять-таки этот залог непосильной тяжестью обременяет тех же бедняков? И не только взрослых, но и детей? Почему он требуется от Петеньки, сына горемычного Горшкова? Мальчик умер, не дождавшись благополучного исхода «дела», среди страшной нищеты, прислушиваясь к подавленным рыданиям матери и глядя на несчастного отца («мальчик-то был лет девяти; надежды, говорят, подавал» — 1, 50). Затянувшаяся тяжба Горшкова завершилась наконец его победой: «Какая там была вина на нем за нерадение и неосмотрительность — на все вышло полное отпущение. Присудили выправить в его пользу с купца знатную сумму денег, так что он и обстоятельствами-то сильно поправился, да и честь-то его от пятна избавилась, и все стало лучше,— одним словом, вышло самое полное исполнение желания» (1, 97). Несмотря на полное отпущение и исполнение желания, Горшков не оправился, не воскрес. Хотя ему вернули честь, доброе имя, деньги («Да, говорит, и деньги хорошо; слава Богу, слава Богу!» — 1, 98), хотя счеты с купцом, счеты с людьми кончились к его оправданию и в его пользу, не кончились счеты бедняка с Господом Богом, промысл которого «и благ и неисповедим, и судьбы тоже, и они то же самое». Не кончились потому, что нет Петеньки. Кто вернет отцу ребенка? И могут ли все возмещения (чести, имени, денег) заставить Горшкова забыть самую дорогую, ничем не восполнимую утрату? «Меня встретил в коридоре <...> пожал мне руку и отошел, и все улыбаясь, но как-то тяжело, странно улыбаясь, словно мертвый. <...> Подозвал к себе дочку, положил ей на головку руку и долго, долго гладил по головке ребенка. Потом опять оборотился к жене: „А что ж Петенька? Петя наш, говорит, Петенька?..“. Жена перекрестилась, да и отвечает, что ведь

lib.pushkinskijdom.ru

он же умер. „Да, да, знаю, все знаю, Петенька теперь в царстве небесном“» (1, 98). И, видимо, потому, что ребенок не может теперь вернуться к отцу, чтобы разделить с ним радость, бедняк и поспешил сам отправиться с этой радостью в царство небесное, к своему ребенку: «...умер, маточка, умер Горшков, внезапно умер, словно его громом убило! А отчего умер — Бог его знает. ‹...› Ах, судьба-то какая! Жена в слезах, такая испуганная. Девочка куда-то в угол забилась. ‹...› Грустно подумать, что этак в самом деле ни дня, ни часа не ведаешь...» (1, 99). Для Горшкова этот день и час совпадает с днем и часом его торжества. Не только здесь, на земле, но и там, в царстве небесном, так как евангельская цитата (среди других мотивов того же рода) говорит о Страшном суде и последнем воздаянии, ср.: «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один...» (Мф. 24, 36).

Но что же все-таки Петенька? Зачем так несчастно сложилась его судьба, которую мальчик при всей своей смышлености, уж конечно, не мог осмыслить, а мог разве что детски сильно и горько почувствовать? Почему его маленькая жизнь, полная страданий, целиком ушла в залог небесной награды, ведь ребенок не успел не только нагрешить, но просто в этом Божьем мире оглядеться? Почему жизнь другого Петеньки, Покровского, тоже стала и крайне обременительной уплатой долга за чей-то грех, и крайне обременительным залогом? Вот вопросы. В «Бедных людях» они поставлены, но не разрешены. Судя по всему, для молодого Достоевского они были тем «камнем преткновения и соблазна» (ср.: 1 Петр. 2, 7), который писатель на путях религиозной мысли не мог ни отодвинуть в сторону, ни обойти (в этом смысле мы склонны толковать имя того и другого Петеньки: *Петр* — значит: *камень*). Эти же вопросы (но уже с целью опровержения) повторяются гораздо позже — в «Братьях Карамазовых» (главы «Бунт», «Великий инквизитор»), где они высказаны не от лица автора, а от лица героя, говорящего «гордо и богохульно» (30, кн. 1, 68; Откр. 13, 5). Ср. слова Достоевского в ответ на критику последнего романа: «Инквизитор и глава о детях. Ввиду этих глав вы бы могли отнестись ко мне ‹...› не столь высокомерно по части философии, хотя философия и не моя специальность. И в Европе такой силы атеистических *выражений* нет и *не было*. Стало быть, не как мальчик же я верую во Христа и его исповедую, а через большое *горнило сомнений* моя *осанна* прошла» (27,86). «Бедные люди» в полной мере демонстрируют это «горнило сомнений» (именно сомнений, никак не отрицание Бога), тогда как в «Братьях Карамазовых» сомнения разрешаются уверенной, молитвенно-торжественной «осанной».

lib.pushkinskijdom.ru

[1] *Достоевский Ф М* Полн собр соч В 30 т Л , 1980 Т 21 С 130 В дальнейшем все ссылки на это издание даются в тексте настоящей статьи с указанием в скобках арабскими цифрами тома и страницы

[2] Говоря от имени всех, Достоевский не совсем точен Здесь следовало бы сделать по крайней мере одно исключение, касающееся его самого Судя по его ранним произведениям (начиная с «Бедных людей»), по воспоминаниям мемуаристов, писатель никогда не поддавался безоглядному увлечению западными идеями А П Милюков вспоминал о молодом Достоевском «Он читал социальных писателей, но относился к ним критически Соглашаясь, что в основе их учений была цель благородная, он, однако ж, считал их только честными фантазерами В особенности настаивал он на том, что все эти теории для нас (в России — *В В*) не имеют значения (это Достоевский утверждал и в показаниях Следственной комиссии по делу Петрашевского — *В В*), что мы должны искать источников для развития русского общества не в учениях западных социалистов, а в жизни и вековом историческом строе нашего народа ‹ › Он говорил, что жизнь в Икарийской коммуне (имеется в виду коммунистическая утопия Кабе — *В В*) или фаланстере представляется ему ужаснее и противнее всякой каторги» (*Милюков А П* Федор Михайлович Достоевский // Милюков А П Литературные встречи и знакомства СПб , 1890 С 180—181)

[3] *Сен-Симон* Избр соч М , Л , 1948 Т 2 С 99—100

[4] «Христианская религия устарела»,— писал Сен-Симон в «Труде о всемирном тяготении» (*Сен-Симон* Избр соч М , Л , 1948 Т 1 С 226)

[5] Там же Т 2 С 108

[6] Там же С 91, 365

[7] Там же С 374

[8] Там же С 298

[9] Изложение учения Сен-Симона М , Л , 1947 С 520

[10] Там же С 519, 522

[11] *Зильберфарб И* Социальная философия Шарля Фурье и ее место в истории социалистической мысли первой половины XIX века М , 1964 С 168

[12] *Фурье Ш* Избр соч М , 1954 Т 4 С 47—49

[13] См развернутую рецензию В Г Белинского на этот роман (Отеч зап 1844 № 4 Отд V С 21—36)

[14] *Сю Э* Парижские тайны М , 1990 Т 1 С 377

[15] Там же

[16] Там же С 150

[17] *Ветловская В Е* 1) Роман Ф М Достоевского «Бедные люди» Л , 1988 С 75—133, 2) Идеи Великой французской революции в социальных воззрениях молодого До-

lib.pushkinskijdom.ru

стоевского // Великая французская революция и русская литература Л., 1990 С 282—317

[18] *Сен-Симон* Избр соч Т 1 С 354—355

[19] Определение позднего Достоевского (25, 55)

[20] См об этом *Зильберфарб И* Социальная философия Шарля Фурье С 196, 206—207, 221 и след

[21] *Фурье Ш* Избр соч М, 1954 Т 3 С 49—50

[22] Там же Т 4 С 398—399

[23] Там же С 408

[24] См об этом *Зильберфарб И* Особенности языка Фурье и проблемы его перевода // Фурье Ш Избр соч М, Л, 1951 Т 2 С 307

[25] Там же Т 4 С 408—409

[26] *Кант И* Трактаты и письма М, 1980 С 252

[27] *Гете И-В* Об искусстве М, 1975 С 234

[28] См *Зильберфарб И* Социальная философия Шарля Фурье С 185—186, 206—207 и др

[29] Ср «Я один сведу на нет тридцать веков бредней и глупости Никто не может притязать на малейшую часть моего открытия, именно мне одному настоящие и грядущие поколения должны быть признательны за свое счастье» (*Фурье Ш* Избр соч Т 2 С 129)

[30] Там же Т 4 С 395

[31] Там же С 399

[32] Там же М, Л, 1951 Т 1 С 198

[33] Там же С 118

[34] См там же С 201

[35] См там же Т 4 С 361

[36] Ср «Уточним хорошенько смысл этого выражения *изображение в опрокинутом виде* Отраженные страсти, вместо того чтобы вести социальный мир, во-первых — к роскоши, во-вторых — к сериям групп, в-третьих — к механизму, в-четвертых — к единству, ведут его к обеднению, разъединению путанице двойственности действия Они действуют, как зеркало, которое опрокиды г предмет, верно его воспроизводя » (*Фурье Ш* Избр соч Т 4 С 162)

[37] Там же Т 2 С 38, ср Т 4 С 230, 365—366

[38] Там же Т 4 С 225

[39] Там же Т 2 С 209

lib.pushkinskijdom.ru

[40] Там же С 232

[41] «Игра», по мнению Фурье,— следствие «кабалисты» (так он называл одну из важнейших страстей в прямом, неопрокинутом виде) Она означает влечение к интриге « пустые умы, как крестьяне, очень любят игру она развивает в них страсть ‹ › у которой едва ли есть пища в шалаше » (*Фурье Ш* Избр соч Т 4 С 159) Картежная игра, заговоры, тайны и пр — все это проявления названной страсти Но «там, где есть действительная интрига, нет нужды в интриге искусственной, как интрига игры, романов, театра и т д Поэтому гармонийцы будут пользоваться картами только для больных и слабосильных, которые не в состоянии принимать деятельное участие в трудовых интригах, какие будут занимать настолько, что ни одно живое существо не захочет играть» (Там же С 160, ср 161) Ср в «Бедных людях» «Отыскал я его в той самой комнате, где у нас обыкновенно в карты играют Там мне дали чаю и непременно хотели, чтоб я в азартную игру с ними играл Смеялись ли они, нет ли надо мною, не знаю, только сами они всю ночь напролет проиграли, и когда я вышел, так тоже играли ‹ › Играть я не стал, и мне сейчас заметили, что я про философию говорю» (1, 23) Макар Алексеевич играет в другие «игры»

[42] *Фурье Ш* Избр соч Т 1 С 151, 152, 155

[43] Ср там же Т 2 С 33

[44] Там же Т 3 С 527

[45] Там же Т 4 С 78

[46] См об этом *Ветловская В Е* Роман Ф М Достоевского «Бедные люди» С 134—201

[47] Изложение учения Сен-Симона С 81

[48] Там же С 239—240

[49] Ср « идея Бога есть для человека только способ представить себе единство, порядок, гармонию, сознавать за собой известное назначение и объяснить его себе» (Там же С 535) Единство, порядок, гармония здесь мыслятся как связь иерархических отношений

[50] См *Фурье Ш* Избр соч Т 2 С 270—271, т 3 С 420

[51] Там же Т 3 С 482

[52] См там же Т 2 С 225

[53] Там же Т 3 С 66

[54] Ср « можно изменить ход страстей, не изменяя ничего в их природе» (Там же Т 1 С 101)

[55] Там же Т 2 С 261

[56] Там же Т 3 С 108

[561] Ср «О стыде же (скажу) размышляя о всенародном стыде, который прод Господом постигнет грешников (во время Страшного суда и в дальнейшем — *В В*), вме-

lib.pushkinskijdom.ru

нишь ты временный ни во что» Преподобного отца нашего Аввы Дорофея душеполезные поучения и послания 7-е изд Калуга 1895 С 266 ср с 232

[57] Ср « теория социального движения докажет вам, что ваши души в грядущие века примут некоим образом участие в судьбе живущих, вы, следовательно, будете < > разделять счастье, готовящееся для нашего земного шара» (Там же Т 1 С 138)

[58] Полн собр твор св Иоанна Златоуста В 12 т СПб , 1895 Т 1, кн 1 С 39

[59] Ср «„Бог сотворил человека животным, получившим повеление стать Богом",— вот строгое слово Василия Великого, на которое ссылается св Григорий Богослов Чтобы исполнить это повеление, надо быть в состоянии от него отказаться Бог становится *бессильным* перед человеческой свободой Он не может ее насиловать, потому что она исходит от Его всемогущества Человек был сотворен одной волей Божией, но ею одной он не может быть обожен Одна воля в творении, но две — в обожении Одна воля для создания образа, но две — для того, чтобы образ стал подобием Любовь Бога к человеку так велика, что она не может принуждать, ибо нет любви без уважения Божественная воля будет всегда покоряться блужданиям, уклонениям, даже бунтам воли человеческой, чтобы привести ее к свободному согласию Таков божественный Промысел, и классический образ педагога покажется весьма слабым каждому, кто почувствовал в Боге просящего подаяние любви нищего, ждущего у дверей души и никогда не дерзающего их взломить» (*Лосский Вл* Догматическое богословие // Мистическое богословие Киев, 1991 С 299)

[60] Ср «Как рабовладение и крепостное право для нас теперь представляет явно греховное установление, так и современный капитализм, основанный на эксплуатации труда, классовых антагонизмах, контрастах богатства и бедности, есть явный грех и человеконенавистничество Христианство не допускает примирения с каким бы то ни было общественным строем, основанным на насилии и ненависти, оно может благословить только строй, воплощающий начала любви, свободы и равенства, и, пока остается социальная неправда, оно всегда зовет вперед, к социальному прогрессу, к очищению общества от этих пороков, проповедует не только личное, но и общественное покаяние» (*Булгаков С Н* Церковь и социальный вопрос // Булгаков С Н Христианский социализм Новосибирск, 1991 С 85)

[61] Мы не касаемся теологического решения этой проблемы, связанной с тайной Искупления это увело бы нас в сторону См объяснение проблемы православной традицией, не придающее главного значения ее «юридическому» аспекту, в работах В Н Лосского (Мистическое богословие С 194, 195, 330—333)

lib.pushkinskijdom.ru